

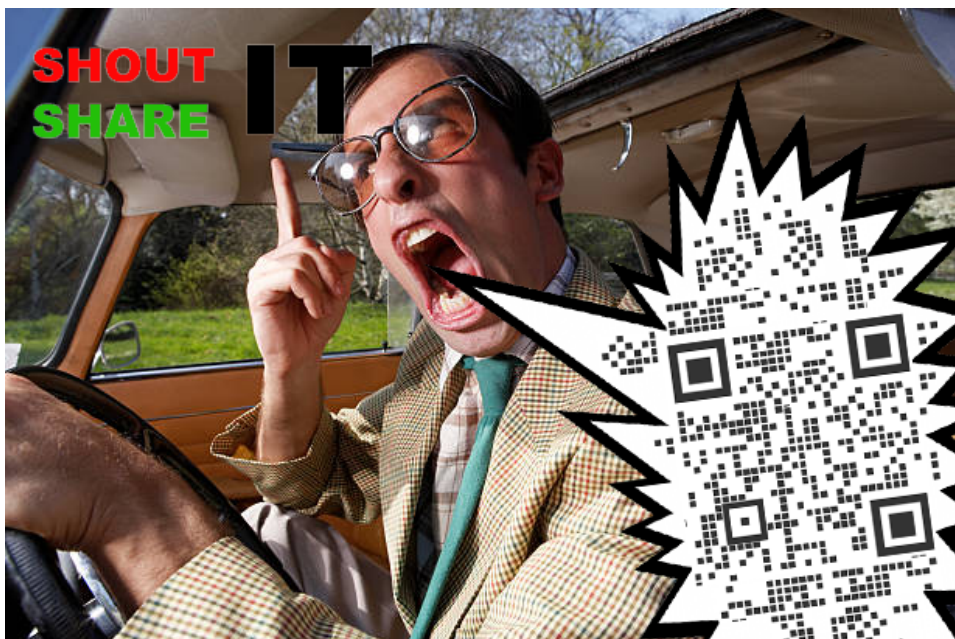
Т В О И Р О В Е С Н И К И



СЕМЕН КАЛАБАЛИН
БРОДЯЧЕЕ ДЕТСТВО



Т В О И Р О В Е С Н И К И



Annotation

Семен Афанасьевич Калабалин (он же Семен Карабанов из «Педагогической поэмы») рассказывает свою историю жизни до того, как он попал в колонию имени Горького.

Семен Афанасьевич рассказывает о том, как впервые встретился с Макаренко, о некоторых эпизодах, которые не были описаны в «Педагогической поэме».

Литературная запись Евгения Рысса

Размещено в сети по разрешению правопреемника автора, директора Педагогического музея А.С.Макаренко Антона Семёновича Калабалина

2010 г., августа, 27-го числа <http://www.makarenko.edu.ru/kalabalin.htm>

- Семён Калабалин. БРОДЯЧЕЕ ДЕТСТВО
 - Я УХОЖУ ИЗ ДОМУ
 - Я СТАНОВЛЮСЬ ПОВОДЫРЁМ
 - МЫ РАССТАЁМСЯ С ДЕДУШКОЙ
 - БОГАТАЯ ЖИЗНЬ
 - ЦЫГАНСКАЯ ЖИЗНЬ
 - ДОРОГА ВНИЗ
 - ВОР-ГРАБИТЕЛЬ
 - ПО ВЕРНОЙ ДОРОГЕ
 - ЛЕЧУ В ПРОПАСТЬ
 - КОННЫЙ РЕЗЕРВ МИЛИЦИИ
 - НЕИЗВЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК ДЕЛАЕТ СТРАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 - Я ВЫХОЖУ ИЗ ТЮРЬМЫ
 - Я ПОЛУЧАЮ ВАЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
 - ВЫПОЛНЯЮ БОЛЬШЕ, ЧЕМ МНЕ ПОРУЧЕНО
 - ... И ПОСЛЕДНЕЕ
 - ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ СПУСТЯ
 - ОБ АВТОРЕ ЭТОЙ ПОВЕСТИ
 -
 - Письмо без даты.
 - Москва, 15 августа 38
 - Москва, 2 февраля 39
 - Москва, 28 марта 39

Семён Калабалин. БРОДЯЧЕЕ ДЕТСТВО

Я УХОЖУ ИЗ ДОМУ

Я родился 21 августа 1903 года в деревне Сторожево, что километрах в сорока от Полтавы. Так сказано в выписке из церковных книг. Быть может, впрочем, родился я несколько раньше, а 21 августа меня крестили. Когда перед поступлением на рабфак я поехал домой, чтобы достать метрику или хотя бы уточнить с матерью дату своего рождения, мать вспоминала: «Та я не помню, як це було и колы воно було. Ото ж згадую що як раз тоды дуркувата Евдоха вийша замуж, а у кривого Карпа сдохла корова... Ну да це було як раз на Петра и Павла, на пятый день святой Параскевы. Ще в цю ніч пидпалыли скирды у помещика, и то як вдарыли на пожар у здоровый колокол, а я ж лежала на печи, ты в той час и запросився...»

Установить сейчас, когда у кривого Карпа сдохла корова, а «дурковата Евдоха вийша замуж», решительно невозможно.

У моих родителей было шестнадцать детей. Ровно половина из них умерла. Восемь (пять мальчиков и три девочки) остались живы. Я был самый младший. Когда я начинаю себя помнить, старшие мои братья — Ефим и Иван - работали уже рабочими на сахарном заводе помещика Дурново на станции Кочубеевка. Дурново был очень богатый помещик, имел спиртоводочные и сахарные заводы. Отец мой всю жизнь батрачил. Всю жизнь он прожил по чужим хатам и вырастил восемь детей. Понятно, что каждый кусок хлеба был на счету и дети начинали работать в том возрасте, в котором современные дети идут в школу: лет в семь, а иногда и раньше. Лет семи пошёл работать пастушонком и я. Летом пас коров, зимой убирал в хлеву или в конюшне и вообще делал то, что прикажут. А весной 1915 года я ушёл из дому. Получилось это так. Коров я пас у помещицы Голтвянской. Дело было в августе. Коров одолели слепни, и они, точно взбесившись, помчались домой в коровник. Я делал всё, что положено: кричал, бил их кнутом, но с коровами происходило непонятное. Какая-то коровья истерика овладела ими. Как бешеные промчались они через двор, не обращая внимания на удары наших пастушеских кнутов, на наши крики и вопли.

Наша хозяйка помещица Голтвянская варила во дворе варенье. Взбесившиеся коровы прогалопировали мимо неё и скрылись в коровнике. За коровами мчались мы, пастушата, надрываясь, кричали и щёлкали кнутами. Помещица долго разбираться не стала. Она схватила меня за волосы и, обзывая «байстрюком», колотила ложкой, которой мешала варенье, по

лицу. Я был вне себя от всего происшедшего, от погони за взбесившимися коровами, от собственного крика, от страха, от боли. Я знал, что вины моей никакой нет и бьют меня несправедливо. Кровь бросилась мне в голову. Неожиданно для самого себя, пожертвовав клоком волос и вырвавшись из цепких рук помещицы, я изо всей силы хлестнул её кнутом. Видно, удар был удачным. На помещице треснуло платье. Она стала громко кричать.

Понимая, что случилось непоправимое, я бросил кнут и бежал.

С неделю я скрывался в селе. Я прятался на сеновалах и в пустых амбарах. Я наладил связь с моей сестрёнкой. Она доставляла мне в условленное место утаённые дома куски хлеба. Она же сообщала, как обстоят дела. Дела обстояли плохо. Помещица была в ярости, утверждала, что я хотел её убить, и пылала жаждой мести. Отец мой тоже был в ярости. Он знал только то, что ему рассказала Голтвянская. Кроме того, я получал жалованье, не помню, три или четыре рубля за лето. На эти деньги отец рассчитывал. Они входили в будущий бюджет. Впрочем, больше помещицы и отца пугали меня сыновья Голтвянской. Их было двое, оба офицеры, оба всегда молчали и очень страшно таращили глаза. Сейчас мне кажется удивительным, что весной пятнадцатого года, в разгар мировой войны два здоровенных кадровых офицера отсиживались дома. В то время такие мысли не приходили мне в голову. Я просто очень боялся этих пучеглазых людей. Я считал, что если попадусь им — я пропал.

Через неделю я понял, что в селе дела мои безнадёжны, и отправился в Полтаву, единственный город, о котором в то время слышал.

Мне было двенадцать лет, я еле разбирал буквы. Я ничего не знал о городах, о железных дорогах, вообще об огромном мире, в котором существую. Я почти ничего не знал о войне, во всяком случае, не понимал, что это такое. Одет я был в лохмотья. Денег у меня не было ни копейки. Цель у меня была одна: как-нибудь прокормиться. Я был маленьким дикарём, живущим в двадцатом веке в центре европейского государства.

В деревнях я просил под окнами и мне подавали куски хлеба, иногда даже сала. Если бы не страх, что меня догонят пучеглазые Голтвянские, я бы чувствовал себя превосходно. На второй день показалась Полтава. Каменные дома, златоверхие церкви, булыжная мостовая. Если б я был более развит, я бы удивлялся, любопытствовал, спрашивал. Но меня ничто не могло удивить. Я слишком мало знал, чтобы что-нибудь показалось мне

необычным. Думал я только о еде и о месте для ночлега. Повторяю: мне было двенадцать лет. Если бы дело происходило в наше время, я переходил бы в пятый класс.

Я СТАНОВЛЮСЬ ПОВОДЫРЁМ

Оказалось, что в Полтаве жить можно. Кому воды наносишь, кому дров наколешь — покормят да ещё дадут две-три копейки. Скоро нашёлся у меня дружок. Вместе с ним мы шныряли по городу, искали где заработать, вместе просили милостыню, вместе и жили. Да, представьте себе, нашли мы и жильё. В прежнее время богатые семьи строили на кладбище склепы. Это были крытые помещения, построенные солидно, с дверями, запиравшимися на замок. Так сказать, место коллективного успокоения всей родни. Один из них мы приспособили под жильё.

Сорвали замок с двери, натаскали сена, а со временем на валке нашли печурку и даже подтапливали в холодные ночи. Было, конечно, голодно, но жили. Впрочем, сытно я и раньше не жил, так что не огорчился.

Над Полтавой на холме стоит Крестовоздвиженский монастырь. В воскресные и праздничные дни на дороге к монастырю собирались нищие со всей Полтавы. Подавали там хорошо. С утра выстраивались безногие и безрукие, глухие, слепые и припадочные. Шедшие в церковь и возвращавшиеся из церкви раздавали убогим по копейке или по две, а все просящие показывали своё убожество, гнусавили, просили, молились и пели. Мы с приятелем в праздничные дни прирастали ходить в монастырь. Мы тоже стояли в ряду убогих и тоже просили, выставляя на вид свою детскую беспомощность, грязь и лохмотья. Не бывало так, чтобы к вечеру мы не насобирали на пироги с ливером.

Конечно, об одежде нечего было и думать. Впрочем, лохмотья меня ничуть не смущали, и, пока не наступили холода, я никакой нужды в обуви не испытывал. А ещё до холодов, в октябре месяце, в судьбе моей произошла неожиданная перемена.

Дело было так: в одно из воскресений стоял я на дороге к монастырю и без конца повторял какие-то, раз навсегда отработанные фразы о том, что я бедный сиротка и что буду за подавшего копеечку бога молить, словом, то самое, что говорить полагается.

И вдруг передо мной остановился человек. Одет он был в пиджачную пару, в рубашку, подпоясанную шёлковым шнурком, на голове красовалась шляпа с красиво загнутыми полями. На вид показался он мне богатым. Для меня это была единая категория и в тонкостях я не разбирался. Учитель или помещик, купец или чиновник, мне было всё равно. Все эти люди принадлежали к

знакомому мне только по виду племени богатых людей. Так вот, человек, остановившийся передо мной, был богатый, пан.

— Ты чей? — спросил он меня.

Хорошо помню, что смотрел он мне прямо в глаза властным, подчиняющим взглядом.

Вопрос не показался мне странным. Я объяснил, что пока как будто ничей.

— Хорошо, — сказал он, — пойдёшь со мной!

Я и пошёл с ним. Мне даже в голову не пришло спорить.

Он привёл меня в двухэтажный каменный дом. Мы поднялись на второй этаж. Вошли в квартиру. По тогдашним моим понятиям, она мне показалась царской палатой. Нас встретила девушка, прислуга, как тогда говорили. Мой загадочный хозяин подтолкнул меня к ней.

— Оденешь, — сказал он коротко и ушёл в глубину квартиры.

Мне дали старые сношенные башмаки. Лохмотья, в которые я был одет, сочли удовлетворительными. В них только нашили заплаты, причём разных цветов, чтоб они бросались в глаза. Спать меня отвели в дворницкую, внизу.

Как я сейчас вспоминаю, мне не казалось ни удивительным, ни безобразным то, что мною распоряжаются, не спрашивая моего согласия. Человек в пиджачной паре и шляпе мог распоряжаться мной как ему было угодно. Это не подлежало сомнению. Спорить тут было не о чем. Я без возражений выполнял всё, что мне приказывали. Не помню, чтоб я особенно и огорчился. Случилось так, могло случиться иначе. Поесть мне дали. Я спокойно заснул.

Утром меня повели наверх к хозяину. Я сначала даже не узнал его. Он был одет в сношенный, порванный армяк, и во внешности его ничего не осталось от облика богатого человека. Это был нищий, такой, каких я видал десятки у себя в селе. Только лицо было то же. Нет, и лицо было другое. Куда девался его уверенный, повелительный взгляд. У него вообще никакого взгляда не было. Его глаза просто не видели. В каждой руке он держал по большому посоху. На каждом посохе висело по торбе. Ещё две торбы висели у него за плечами.

Две палки поменьше дали и мне.

— Я слепой, — сказал мне хозяин, — ты понял? Я слепой!

И это тоже не показалось мне удивительным. Я так мало знал о том, как устроен мир, что не мог различить обыкновенное и необыкновенное. По совести говоря, я и не вдумывался в то, что происходит. Раз происходит, значит так и надо.

Мой хозяин взял меня за плечо, ведь он был слепой, а я его поводырь, и мы вышли из дому. Хотя поводырём был я, но его рука уверенно мне сигнализировала, где идти прямо, а где

свернуть. Когда мы вышли из города, он объяснил, что звать я его должен дедушка Онуфрий, что будем мы с ним просить милостыню, что бы я не вздумал утаить что-нибудь, потому что он хоть и слепой, а всё видит, что я должен петь молитвы и просить.

Видно, я был у него не первым поводырём и технику обращения с нашим братом он разработал здорово. Мы вышли из города и отправились бродить по Украине.

Мы обошли Полтавщину, Киевщину, Екатеринославщину. Медленно двигались мы по пыльным улицам сёл, монотонно гнусавили свои унылые просьбы, обрывки молитв, жалобно протягивали руки, неистово крестились. Подавали нам хорошо. Кто не подаст слепому старцу, он прямо на глазах становился немощным старцем, когда мы входили в село, который по убожества своему только и жив подаванием да помощью этого маленького невинного хлопчика.

Сейчас я довольно высокий человек, но расти начал лет с пятнадцати, а в то время, хотя мне уже исполнилось двенадцать, я выглядел лет на десять, не больше.

Да, подавали нам хорошо. Нам подавали и хлеб, и сало, и муку. Иной раз и кусок полотна длиною в аршин, а то и больше. Подавали и яйца, подавали и деньги: копейку, а то и две. Иной раз богомольный лавочник давал и гривенник.

Если бы знали подающие, каким мерзавцем был дедушка Онуфрий!

Он меня бил и щипал нещадно. Не за что-нибудь, а просто так, из удовольствия мучить. Он любил неожиданно схватить меня за уши и поднять в воздух, так что несколько часов после этого у меня шумело в ушах и трещала голова. Он обладал зоркостью орла этот жалкий слепец, дрожащей рукою державшийся за поводыря. Если хозяйка, подав милостыню слепому совала и мне грошик или кусочек сала, то как только мы выходили со двора, он сразу же хватал меня за руку.

— Отдай, — говорил он зло. И хоть я никогда не спорил и сразу отдавал, он всё время подозревал, что я обкрадываю его. Ох, каким безжалостным, каким злобным был он, пока никого вокруг не было. Но вот мы входили в село, и снова шагала по улице трогательная пара: беспомощный несчастный слепец и маленький хлопчик, единственная его опора.

Мы пространствовали с ним месяцев семь или восемь. За это время дважды мы приходили в Полтаву. Дома мой хозяин преображался. Он мылся в бане и надевал пиджачную пару. Снова он был важный, барственный человек из племени богатых. Он и действительно был богат. Я теперь считался в доме почти своим,

и дворник (я по-прежнему ночевал в дворницкой) рассказал мне, что этот каменный дом принадлежит моему слепому и, кроме того, у него ещё два дома в Полтаве. Отдохнув день-другой, мы снова уходили, и снова шли по сёлам, и дедушка Онуфрий бормотал благодарственные молитвы, принимая милостыню от крестьянина, богаче которого он был в тысячу раз.

Очень скоро я понял, что нищенство не простое дело. Сто человек не смогли бы съесть то сало, те яйца, тот хлеб и муку, которые мы выпрашивали. Раз в неделю заходили мы в какие-то особенные дома, в которых нас уже ждали. Тут кипел самовар и стояла водка. Меня выгоняли в сени, но я подглядывал, когда отворялась дверь, а иногда про меня забывали, и я пробирался в комнату. Шли какие-то финансовые операции. Оценивалось выпрошенное сало, выпрошенный хлеб и выпрошенные куски полотна. Грошики и копейки обменивались на золотые десятки. Торбы наши после каждого такого посещения становились пустыми.

Примерно раз в месяц, тоже в заранее, очевидно, условленный день, приходили мы в дом, в который одновременно с нами приходило ещё много таких же, как мы, нищих. Больше всего, пожалуй, было слепых. Мужчин вели такие же мальчики, как я, женщин — девочки-поводырки десяти-двенадцати лет. Были ли среди слепых настоящие слепые? Не знаю. Я долго после того как убежал от дедушки Онуфрия, не мог отличить слепого от зрячего. Во всяком случае, в этом доме они не выглядели жалкими. Начиналось пьянство. Пили одинаково мужчины и женщины, пили и засыпали, валились на стол или на лавку, просыпались и пили снова. Гульба и пьянство шли несколько дней. Счастье моё, что не понимал разврата, потому что разврат был циничный и откровенный. Я многого не видел, а из того, что видел, многого не понимал. Понял гораздо позже, когда мне это было уже не страшно.

Мы, поводыри, сидели в сенях, хотя там и было холодно. Нас не пускали в хату, не потому, что стеснялись, а просто что б мы не путались под ногами. Но и кормить не кормили. Иногда только хозяйка дома выносила нам кучу объедков, которые мы с жадностью разбирали. Интересно, что в селе, в котором происходили эти пьяные оргии, мы никогда не просили милостыню. Это было по меньшей мере благоразумно. Вряд ли в селе можно скрыть многодневную попойку.

Если бы дедушка Онуфрий знал меру и не очень издевался надо мной, возможно, что я долго ходил бы с ним, помогая ему вызывать слезу и выпрашивать подавание у добрых украинских крестьянок. Но моя безропотность словно подхлестывала его. Он

бил и мучил меня месяц от месяца безжалостнее и чаще.

МЫ РАССТАЁМСЯ С ДЕДУШКОЙ

Собирался ли я бежать от моего слепца? Пожалуй, нет. Слишком я был запуган. Мысль о том, что я не обязан терпеть его побои, мне даже в голову не приходила. Я мог разве только помечтать о том, чтобы каким-нибудь чудом снова обрести свою свободу. Спасти меня мог только случай.

Он заставил себя долго ждать. До самого мая. Почти восемь месяцев. Зато когда он, наконец, пришёл, я не упустил его.

Дело было во время одной из оргий, о которых я уже рассказывал. Несколько дней шло беспробудное пьянство. Однажды ночью я вышел из сеней, где спали в повалку дети-поводыри и поводырки, и увидел, что сатана Онуфрий — я давно уже звал его про себя сатаной — сидит на лавочке перед хатой и спит. Это был уже, собственно говоря, не сон, а пьяная одурь, когда человека можно раздеть или унести, а он даже не почувствует. Я достаточно знал сатану, чтобы различать разные стадии его опьянения.

Обстановка складывалась исключительно благоприятно: нищие все были пьяны и спали беспробудно. Спали и дети. Спало и всё село. Когда я подумал об этом, сон с меня как рукой сняло. Я понял, что моя минута настала.

Мне захотелось броситься бежать, но я удержался.

Страх перед сатаной был очень силен. Я представил себе, как, проснувшись и увидя, что меня нет, он гигантскими шагами, в полверсты каждый, мчится за мной и злорадно улыбаясь, настигает меня. Тогда мне пришёл в голову очень хитрый план. Я подумал, что если обрезать ему пуговицу на штанах, то как только он за мной побежит, штаны упадут, и придётся ему повозиться. А я пока убегу далеко.

План этот мне показался верным. Не помню, где я достал нож. Наверное, просто зашёл в комнату и взял со стола. Помню тихую лунную ночь, сонную сельскую улицу, спящего мёртвым сном сатану и себя, срезающего пуговицу с его штанов.

Следует, впрочем, объяснить, что я имею в виду, говоря «пуговица». Пуговицы в современном смысле носили только богатые, с моей точки зрения, люди. Люди же моего, так сказать, круга привязывали к одежде цурки. Что такое цурка? Это деревянная палочка, утончённая на середине и перевязанная по самому узкому месту очень узеньким ремешком. Впрочем, для этого годилась любая верёвка и даже толстая нитка, но предпочитались, конечно, более крепкие ремешки. Другим

концом ремешок привязывался к материи, из которой сшита одежда. Цурку не надо было покупать, каждый мог сделать её сам. В то же время, просунутая в петлю, она держала лучше всякой пуговицы. Так вот, нищенский костюм сатаны держался на цурке.

Итак, я начал искать ремешок. До сих пор помню, какая трудная это оказалась работа. Конечно, сатана был пьян как свинья, но я глубоко верил, что он обладает какими-то сверхъестественными способностями. Поэтому вопреки всякой логике я ждал каждую минуту, что он проснётся. Всё время мне попадались какие-то другие ремешки. Но мне нужен был именно тот, на котором держалась цурка. Я должен был быть уверен, что он меня не догонит. Я должен был быть уверен, что, когда он встанет, штаны сразу же упадут на землю.

С одним ремешком я очень намучился. Он был толще других, и, как я ни старался, нож его не брал. Я потянул проклятый ремешок в надежде, что развяжу или найду тонкое место. Он тянулся, тянулся, и не было ему конца. Наконец из-под штанов вылез, привязанный к концу ремешка, мешочек. Что могло в нём быть? Пощупал. Монеты! Я похолодел. Красть я не собирался. С другой стороны, зол я на сатану был ужасно. В ту минуту мной руководил не расчёт. Я не стремился приобрести богатство. Я хотел только как можно сильнее отомстить проклятому Онуфрию. Дрожащей рукой перерезал я ремешок. Мешочек был у меня в руках. Цурка валялась на земле. Долго предстояло возиться Онуфрию, чтобы хоть шаг пройти по земле, не потеряв штанов.

Я пустился бежать. Как всякому беглецу с нечистой совестью мне слышались догоняющие меня шаги. Ясно я представлял себе, как проснулся мой сатана и поднял тревогу, как бежит он, а за ним и другие нищие, чтобы до смерти забить меня своими посохами.

До сих пор жалею, что не видел пробуждения Онуфрия.

Я бежал долго. Конечно, не по дороге. Сначала полем, потом через лес, потом опять полем. Уже рассвело, когда я оказался в густом дубовом лесу. Сил бежать больше не было, да здесь, кажется, я и был в безопасности. Я лёг под дубом и долго громко дышал, пока, наконец, постепенно пришёл в себя. Тогда я раздёрнул верёвочку, которой был стянут мешочек. Из мешочка высыпались монеты. Передо мной лежало богатство, которое мне и во сне не снилось. Тут были грошики и полушки, к виду которых я привык, тут были пятачки, которых я в своей жизни видел мало, тут были серебряные монетки: гривенники и пятиалтынные, тут были серебряные рубли, наконец, тут были три золотые монеты: две по десяти рублей и один пятирублёвик.

Я долго раскладывал монеты по кучкам — копейка к копейке, гривенник к гривеннику. Моё знакомство с математикой носило самый общий характер. Солнце стояло уже высоко, когда с помощью пальцев, чёрточек на земле и отложенных прутиков, в результате огромного напряжения ума, подсчёт был закончен: я стал обладателем огромного богатства. В мешочке лежало сорок два рубля.

Следует иметь в виду, что по тогдашним ценам на эти деньги можно было купить пару быков. Следует также иметь в виду, что моё реальное представление о валюте находилось в пределах десяти, очень редко пятнадцати копеек. Мне было ясно, что теперь до конца своих дней я буду вести обеспеченную жизнь состоятельного человека. Главная задача состояла в том, чтобы донести этот огромный капитал до Полтавы.

Да, я решил идти в Полтаву. Казалось бы, как раз туда не следует мне соваться. Туда раньше или позже непременно придёт полтавский домовладелец, нищий-слепец Онуфрий. Но, с другой стороны, что было мне делать? Других городов я не знал и даже не твёрдо был уверен, есть ли, кроме Полтавы, ещё города на земле. Зато уж Полтава представлялась мне таким огромным центром, населённым такой массой народа, что только там я мог наверняка как следует затеряться.

Итак, я отправился в Полтаву. Я знал, что до города около двухсот вёрст, но это меня ничуть не пугало. Мешочек я спрятал за пазуху. Обнаруживать в селе моё богатство было опасно. Деньги могли отнять или даже арестовать меня как подозрительного. Я решил идти побираясь. Мне это было не внове.

Днями я шёл весело. Подавали мне щедро, и просил я тогда, когда хотел есть. Один только раз испугался я, когда сердобольная крестьянка, накормив меня, сказала, чтоб я разделся, она мне постирает. Раздеваться мне было никак нельзя, мог обнаружиться мой капитал. С трудом я уговорил эту добрую женщину, что привык сам на себя стирать. Да, днём было весело. Но как страшны зато были ночи!

Ночевать я устраивался где-нибудь в лесу или в поле, там, где мешочек с моим сокровищем никому не мог попасться на глаза. Но и тут я не был один. С неба смотрел на меня бог, который всё видел. Я вёл с ним длинные разговоры. Факты я не опровергал. Я понимал, что тут ничего не скроешь. Я просто пытался их истолковать в благоприятном для меня смысле. Тут я позволял себе настойчиво спорить.

— А то, что он меня бил, это хорошо, да? — говорил я. — А щипаться хорошо, да?

Бог мне не возражал. В этом он был со мною согласен. И всё-таки продолжал, это я чувствовал, смотреть на меня с укором. Очевидно не отрицая вины Онуфрия, он всё-таки считал, что я поступил нечестно.

— Боженька, — убедительно говорил я, — а он эти деньги честно заработал? Ведь он просил, говорил, что голоден, а сам продавал. Он говорит, что слепенький, а сам, знаешь, как видит.

Я не знал, убедили мои доводы бога или нет, но мне было беспокойно. Я метался во сне, кажется, даже кричал. Мысль о заслуженной мною небесной каре очень меня пугала.

БОГАТАЯ ЖИЗНЬ

На этот раз в Полтаве я действительно повёл жизнь состоятельного человека. Правда, ночевал я где приходилось: на кладбище или в чьём-нибудь саду. В моём старом склепе поселились другие хлопчики и совсем не собирались меня пускать. Мой бывший сожитель и друг куда-то исчез. Снять угол мне даже не пришло в голову. Вообще вопрос о ночлеге беспокоил меня мало. Зато в первый раз в жизни я позволил себе одеться с ног до головы. Я купил себе штаны и рубашку, сапоги, не совсем новые, но хорошо залатанные, и даже картузик, что было уже совершенным франтовством, потому что нужды в головном уборе я никогда не испытывал. Зеркала у меня не было, но я смотрелся во все зеркала, стоявшие в витринах магазинов и парикмахерских, и получал большое удовольствие от своего аккуратного, даже щеголеватого вида. Я ел сколько угодно пирогов с ливером, которые торговки жарили тут же на улице и продавали с пылу, с жару, горячие. Я впервые в жизни попробовал мороженое, убедился, что это прекрасная вещь, и съел его столько, что мне и сейчас страшно вспомнить. Словом, мои материальные нужды были полностью удовлетворены.

Что же касается потребностей духовных, то и о них я не забывал. Я ходил в церковь и продолжал свой затянувшийся спор с богом. Я всё силился доказать ему, что сатана наделал мне много гадостей и кража моя была, собственно, не кражей, но актом высшей справедливости. Бог всё-таки продолжая сомневаться, и, чтобы склонить его на свою сторону, я не жалел денег на копеечные свечи и не ленился выстаивать долгие службы. Остающееся время, а его оставалось много, я проводил на базаре. Полтавский базар, расположенный рядом с тюрьмой, шумел и сверкал каждый день с утра и до вечера. Какое тут продавалось сало! Каких свиней привозили сюда! Какие пряники, какие вишни! Сколько тут было народу, сколько разговоров и смеха, как интересно было слушать, когда торгуются опытный покупатель с опытным продавцом! Я наслаждался этим шумом толпы, этим человеческим многообразием, этим бурным и непрерывным течением жизни. Как у всякого богатого человека, у меня было много друзей. Я угощал их пирогами и мороженым, и нам никогда не было скучно толкаться в толпе.

Но самое интересное всё-таки было не на базаре, вернее, не на главной его территории. В стороне помещался конный базар, или, как его называли, «цыганский толчок». Вот там уже была

действительно прекрасная жизнь. Там продавали и покупали коней. Я с детства любил горячей, но неразделённой любовью этих благородных и красивых животных. У отца моего никогда не было лошади. Я бывал счастлив, когда мне удавалось с ребятами отправиться в ночное. Это бывало редко, пастушеские мои обязанности загружали меня целиком. Большею частью мне удавалось только издали насладиться видом скачущего коня. А тут на цыганском толчке лошади были кругом. Каждый день пригоняли откуда-то всё новых и новых. Чтобы показать товар лицом, их проваживали, проезжали на них по кругу верхом, их горячили и успокаивали. Среди дня их гнали купаться на реку Ворсклу. Эта ответственная операция поручалась доверенным мальчикам. Скоро в их числе оказался и я. Мало того, я заслужил полное доверие владельцев и продавцов коней - цыган. Другим ребятам для того, чтобы сесть на лошадь, нужно было стать на скамеечку или на телегу, а мне только дай ухватиться за гриву: я взмётывался на коня прямо с земли. Не помню, как я научился ездить верхом. От рождения я умел, что ли. Не было для меня большего удовольствия, как, вскочив прямо с земли на лошадь, пустить её вскачь и въехать в реку и уже в воде соскользнуть с лошадиной спины.

Приглядевшись, как танцуют цыганята, стал, подражая им, танцевать и я. Я был подвижен, горяч и танцевал хорошо. Скоро я добился даже некоторой популярности. Когда вечером прекращался торг на цыганском толчке и цыганки варили кулеш — а я до сих пор считаю, что так, как цыганки, никто кулеш варить не умеет, — когда один за одним показывали цыганята своё танцевальное умение, обязательно наступал момент, когда вызывали меня. Я мог плясать без конца, выдумывая новые и новые колена. То я ускорял до невозможного темп, то замедлял его, щеголяя тем, что всё могу. Лучшие цыганские танцоры хвалили меня.

Так бездумно проходило лето. Денег становилось всё меньше и меньше, но я не приучен был думать о будущем, и меня это ничуть не беспокоило.

Мне было двенадцать лет, скоро, как я теперь знаю, должно было исполниться тринадцать. Я с трудом разбирал буквы. У меня не было крыши над головой. Я ничему не учился и даже не знал, что учиться надо.

Через несколько лет после революции и гражданской войны страну зальёт волна беспризорщины. Об этом будут тревожно писать газеты, правительство будет посвящать заседания этому вопросу, лучшие педагоги пойдут на борьбу с беспризорностью, станут работать деткомиссии, детприёмники, целая огромная сеть

учреждений и организаций. Но сейчас я вспоминаю лето 1916 года, последнего года царской России. В Полтаве толкались десятки ребят, таких же, как я, нигде не живших, ничему не учившихся. Да, после революции и гражданской войны их стало больше, но тогда об этом и говорили, как о народной беде, тогда с этим боролись, не жалея ни средств, ни сил. Тогда в течение нескольких лет ликвидировали беспризорность. А в шестнадцатом году это не считалось народной бедой, с которой надо бороться. Это считалось нормальным. Никто и не думал о том, что растёт целый слой дикарей в цивилизованном государстве. Дикарей, из которых обязательно вырастут воры, грабители и убийцы.

К преступной доле вела судьба и меня, но случай дал мне некоторую отсрочку.

С полтавского базара исчезли вишни. На полтавском базаре появились яблоки и груши. Дело шло к осени.

Однажды вечером я, как обычно, плясал у цыганского костра, и, когда собирался уже идти искать место для ночлега, меня окликнул цыган. Я знал его. Я гонял купать его коней, и много раз он хвалил меня за то, как я пляшу. Это был красивый человек, и у него была красивая жена. Детей у них не было.

— Хочешь, — спросил меня цыган, — пойдём с нами, будешь моим сыном?

— Хочу, — ответил я.

Почему я согласился? Не знаю. Наверное, потому, что идти с цыганами значило снова гонять лошадей на водопой, возиться с лошадьми, ездить на них верхом. Наверное, отчасти и потому, что деньги мои непонятным образом исчезали и их оставалось совсем уже мало. И, наверное, главным образом потому, что мне было всё равно как жить дальше, я, повторяю, не привык думать о своём будущем.

Через несколько дней лошади, предназначенные на продажу, были распроданы. На рассвете заскрипели колёса бричек. Табор снялся и отправился в свой бесконечный путь.

Ушёл с табором и я.

ЦЫГАНСКАЯ ЖИЗНЬ

Почти год странствовал я с цыганским табором. За это время в Петрограде свергли царя и Россия стала республикой. Не помню, слышал ли я тогда об этом. Наверное, нет. Иначе запомнил бы. У нас в таборе менялись только времена года, во всём остальном время будто остановилось. Также горели костры по вечерам, иногда, если вблизи был базар или ярмарка, продавали и покупали лошадей; если поблизости было большое село, ходили туда, играли на скрипке, плясали, гадали. Пили настой полыни, считалось, что это предохраняет от простуды, и действительно, никогда не простуживались. Словом, шла обычная таборная жизнь.

Я по наружности похож на цыгана. У меня тёмные глаза, и очень может быть, что где-то в прошлых поколениях в меня была заронена капля восточной, может быть, турецкой крови. Были же на Украине, как и на Дону, пленные турчанки. За этот год, или почти год, я стал настоящим цыганёнком. Я научился гадать, и гадал не хуже других. Чего только я не предсказывал торопящимся замуж украинским девушкам или солдаткам, мужья которых были на войне. При небольшом опыте не трудно угадать, чего хочется каждому человеку. Танцором я считался лучшим в таборе. Именно это и заставило меня в конце концов с табором расстаться. Но об этом я расскажу потом.

В таборе за маленькими девочками ухаживают. Так или иначе их воспитывают. Зато мальчики полностью предоставлены самим себе. Это происходит не потому, что им не уделяют внимания. Просто считается, что мужчина должен через всё пройти и набраться собственного опыта, иначе он не мужчина. Мы, мальчики, жили весёлой оравой, до всего доходили своим умом, учились ловчить, учились зарабатывать гаданием или плясками или просто выпрашивать хлеб, сало или копеечку. В то время считалось, что таборные цыганы воруют всё, что плохо лежит. Это верно только отчасти. Действительно, если нам попадался кусок полотна, разложенный для отбели, сувая, как он назывался на Украине, то он таинственным образом исчезал. Хозяин мог подозревать кого угодно, но доказательств, что сувою украли мы, цыганята, у него не было. Но что касается более крупных краж, тут всё было иначе.

Цыганский табор возглавляет старейшина. В сущности говоря, он полновластный хозяин или даже царёк. Он пользуется всеобщим уважением, и приказания его обсуждению не подлежат.

Был такой старейшина и у нас. Он был богат, насколько может быть богат кочевник, хорошо одет, уверен в себе, важен. Думаю, что он был человек действительно умный. Я могу судить об этом по одному случаю, непосредственно касавшемуся меня.

В то время большим бедствием для крестьян на Украине, да, наверное, и по всей стране, были конокрады. По отношению к ним крестьяне были беспощадны. Была, например, придумана даже специальная, очень страшная казнь для конокрадов. Она называлась «гнуть козла». Человека клали на землю лицом вниз, потом поднимали за руки и ноги, и несколько человек садились ему на спину и «гнули дугу». Сидели до тех пор, пока не раздавался негромкий хруст. Тогда его бросали и уходили. Надежды выжить у человека с переломанным позвоночником не было никакой. В то же время вроде бы убийства не произошло. Надо сказать, что тем не менее конокрадство не уменьшалось.

И вот однажды компания цыганят, в которую входил и я, решила угнать коней из деревни. Во-первых, это было нам очень интересно с точки зрения чисто спортивной. Во-вторых, мы с мальчишеской хитростью рассчитали, что сейчас самый подходящий момент для этой операции. Следующим утром табор должен был подняться с места. Нам казалось, что когда табор уйдёт, мы будем недосыгаемы. И вот, никому ничего не сказав, мы ночью незаметно ушли из табора и действительно угнали лошадей, угнали незаметно, так что никто ничего не видел и не слышал.

Ночью же мы пригнали их в табор. Мы были уверены, что нас встретят восторженно. К нашему удивлению, однако, восторгов не было. В таборе поднялась тревога. Мужчины собрались вокруг нас. Пришёл старейшина. Все ждали, что скажет он. Он распорядился прежде всего всех участников операции выпороть. Нас немедленно выпороли. При этом очень торопились, так что выпороли не слишком больно. Потом старейшина приказал нам сейчас же угнать коней километров за десять, оставить их в поле, спутав им ноги, чтоб они далеко не ушли, и возвращаться в табор. Всё это мы успели сделать до рассвета. Когда мы вернулись, оказалось, что табор сегодня не будет сниматься с места и что нельзя даже вспоминать о том, что мы собирались утром уходить. Всё это были, как оказалось, разумные распоряжения. Утром к нам явились крестьяне из ограбленного села во главе с сельским стражником. Старейшина объяснил, что мы ничего не знаем и попросил осмотреть всех наших коней. Крестьяне были настроены воинственно, но никаких следов украденных лошадей не обнаружили. Они ушли ворча. Мы всё-таки оставались под подозрением. Табор продолжал стоять на месте, он стоял и день,

и два, и три, пока к нам не заехал стражник, чтобы сообщить, что лошади нашлись. Они паслись стреноженными совсем в другой стороне от села, километрах в десяти от нас. Видно, это сельские ребята баловались. Он не просил, конечно, у нас извинения, но по тону его было ясно, что нас зря заподозрили и что мы можем считать себя вне подозрений. Только тогда старейшина отдал приказ на следующее утро уходить.

История, из-за которой я покинул табор, произошла в июне семнадцатого года. Дело в том, что благосостояние каждого цыгана определяется хорошей лошадью, хорошей бричкой, злой собакой и красивой женой. У моего приёмного отца были хорошие лошадь и бричка. Была и красивая жена. А вот собаки не было никакой. Был другой цыган у нас в таборе, у которого было четыре превосходных пса. Он же считался в таборе и лучшим скрипачом.

Насчёт собак дело обстоит не так просто. Собаку нельзя купить, её можно только украсть или выиграть. Тогда собака будет хорошая. И вот мой приёмный отец предложил скрипачу биться об заклад. Скрипач будет играть, а я плясать под его музыку. Кто из нас дольше выдержит. Не знаю, что поставил мой приёмный отец, а скрипач поставил собаку.

Собрался весь табор. Соревнование началось.

Не могу себе даже приблизительно представить, сколько времени оно продолжалось. Я плясал сначала с увлечением, потом вяло, потом выбиваясь из последних сил, чувствуя, что земля и небо кружатся вокруг меня. Потом у меня дрожали руки и ноги, я обливался потом, а сердце стучало так, что я его слышал. Я продолжал плясать. Я чувствовал, что сейчас упаду, но проклятый скрипач всё играл, и цыганы, сидевшие вокруг, всё хлопали в такт, и этому не было конца, и всё кружилось в моих глазах. Я понимал, что с минуты на минуту упаду, понимал, что у меня больше нет сил, и... продолжал плясать. Наверное, через минуту или через пять минут я бы упал без сознания, но, видно, скрипачу тоже приходилось нелегко. Он сдал раньше, чем я. Как человек азартный, он не мог спокойно пережить свой позор. Он подошёл ко мне, я даже не слышал, что скрипка замолкла, и разбил скрипку о мою голову. Собаку выиграл мой приёмный отец. Я упал на землю. Вероятно, я был без сознания. Кажется, мне дали выпить полынного настоя. Кажется, приёмный отец положил мне в руку полтинник. Потом я этого полтинника не обнаружил. Может, он мне только почудился, а может быть, я его выронил. И всё-таки я ещё не знал, как сложно стать по цыганскому обычаю владельцем собаки.

Оказывается, что нужна не просто собака, а обязательно злая.

Это понятно, злая собака — хороший сторож. Но оказывается также, что есть только один способ сделать собаку злой: того, кто помог выиграть или украсть собаку, надо избить цыганским кнутом. Я не видел в этом никакой логики, но, к сожалению, мои взгляды никого не интересовали. И вот пока я лежал на земле, и мир крутился передо мной, и в голове у меня шумело, и я не мог отличить бред от яви, мой приёмный отец нанёс мне десять ударов цыганским кнутом.

Надо знать, что такое цыганский кнут! Если бить умеючи, им не трудно убить человека. Наверное, приёмный отец бил не в полную силу. Он не испытывал ко мне никакого зла. Наоборот, вероятно, он был мне благодарен за то, что я ему выиграл собаку. Он просто вынужден был исполнить обычай. Ему пришлось меня бить, потому что иначе собака не стала бы злой и всё соревнование пошло бы впустую. Такова была, как я себе представляю, его точка зрения.

Но моя точка зрения была совершенно противоположной. Когда я почувствовал, что за мои тяжкие труды, за мою выдержку и упорство, за то, что я победил и выиграл, мне наносят мучительно болезненные, непереносимо обжигающие удары цыганским кнутом, я сначала просто ничего не понял. Потом я постарался скрючиться так, чтоб защитить хотя бы лицо и глаза. Потом я, кажется, опять потерял сознание.

Когда я пришёл в себя, цыганы разошлись. Соревнование было закончено, мой приёмный отец выиграл собаку, и, поскольку все обычаи были соблюдены, собака обязательно будет злой, то есть такой, как надо. Мальчик отлежится и придёт в себя. Говоря современным языком, это закалит его характер и сделает более мужественным. Да и обычаи он, испытав их на собственной шкуре, лучше запомнит.

Но у меня, повторяю, была на всё это своя точка зрения. Я считал, что со мной поступили чудовищно и несправедливо. Я чувствовал, что ни при каких обстоятельствах эту несправедливость никогда простить не смогу. Я даже не решил уйти. Я просто почувствовал, что не уйти не могу. Несколько минут я ещё лежал, а потом встал и, шатаясь, ушёл из табора. Меня никто не задерживал. Я понимаю почему: ни один цыганёнок не будет плакать на людях, это позор. Мальчику больно, вероятно рассуждали цыгане, он уйдёт в сторонку, за деревья, там поплачет, чтобы никто не видел, и вернётся.

Я шёл шатаясь, пока не дошёл до ручья. Там я умылся холодной водой, немножко ещё посидел и медленно побрёл к ближайшему селу. В табор я никогда уже не вернулся. Никогда не видел никого из этого табора и не знаю, как сложилась дальше

судьба у моего приёмного отца. Интересно, оказалась ли его собака достаточно зла, или он не рассчитал и недодал мне ещё несколько ударов кнутом. Отлежавшись возле села, я снова пошёл, прося подаяния, в единственный известный мне большой город Полтаву.

Всё это произошло пятьдесят лет назад. Всё это пережил я, человек, который и по сей день работает и надеется работать ещё не один год. Думаю, что в обстоятельствах моего детства для того времени не было ничего необычного. Просто неудачная судьба, для сына батрака даже, пожалуй, обычная. Меня удивляет другое: как мир, в котором всё это происходило, не похож на мир, в котором я живу сейчас. Я директор детского дома, и среди моих воспитанников нет ни одного, у которого бы детство сложилось удачно. Но какой ребёнок тринадцати-четырнадцати лет чувствует сегодня ту полную беззащитность, полное равнодушие окружающих к своей судьбе, полную нормальность своей неудачливости, которую чувствовал я тогда.

Когда я убежал из дому, два моих старших брата, Ефим и Иван, работали на сахарном заводе помещика Дурново. Я об этом уже говорил, но хочу ещё раз напомнить, потому что до сих пор кажутся мне удивительными и чудесными две встречи с моими братьями.

Оба раза встречи эти происходили тогда, когда казалось, что ничто уже не может меня поднять с того человеческого дна, на которое я опустился. И оба раза встречи эти круто поворачивали мою жизнь.

Не могу сказать почему, но когда я вернулся Полтаву, уйдя из цыганского табора, город встретил меня немилостиво. Попытался я встать на трудовой путь и устроился к сапожнику, обещавшему выучить меня ремеслу. Но очень уж больно дрался этот сапожник шпандырем, да и учить ничему не учил, а больше посылал разносить заказы да покупать водку. Довольно скоро я понял, что тут меня ничему не научат, и благоразумно ушёл от сапожника, не известив его об этом заранее. Просил я и милостыню, но мне почти ничего не подавали. То ли я разучился просить, то ли стал слишком велик и не вызывал жалости. Так или иначе, жилось мне очень голодно.

Однажды я пошёл на кражу, больше, пожалуй, со зла, чем от голода. Очень уж меня разозлила необыкновенно толстая и жирная кулацкая дочка с тупым, самодовольным лицом, сидевшая на возу и без конца жевавшая сало. Я очень униженно попросил у неё кусочек хлебца. Она меня обозвала всеми обидными словами, какие знала, и пригрозила отцом, который вот-вот появится. Столько в этой жирной копне было отвратительного самодовольства, столько было ни на чём не основанного убеждения, что она принадлежит к неизмеримо лучшей породе людей, чем я, что я не удержался.

— Ой, гляньте, тётечка! — закричал я, указывая пальцем на быков. — Бык быка доедае!

Дивчина оглянулась. Я схватил с воза мешок с харчами и бросился бежать.

— Ратуйте! — закричала дурёха, но исчезнуть в толпе было не трудно. В испуге я добежал до самой реки Тарапуньки, название которой теперь взял псевдонимом известный эстрадный артист. Это была жалкая речонка, но место на берегу было пустынное, и здесь я мог спокойно поесть. В мешке оказался шматок сала килограмма на полтора, буханка хлеба да ещё

пирожки с мясом. Только я начал наслаждаться едой, как почувствовал, что на меня смотрят. Я обернулся.

Хлопчик гораздо меньше меня и гораздо худее жадно смотрел на хлеб и сало. Я пригласил его, разделив мой роскошный обед, и мы молча жевали до тех пор, пока не съели всё, что было в мешке.

Потом опять пошли голодные дни. Постепенно я слабел от голода и окончательно терял уверенность в себе. Жизнь казалась мне безнадёжной. Я ничего не ждал и ни на что не надеялся.

Однажды в состоянии полнейшего уныния я присел на крыльцо какого-то дома, присел потому просто, что ноги болели и не могли больше ходить. Рядом со мной присел, по тогдашним моим понятиям, богато одетый парень в целых, хороших сапогах, в аккуратной рубашечке со щеголеватым пояском. Он был, может быть; на два-три года старше меня, но казался таким уверенным в себе, таким преуспевающим, что я никогда в жизни не решился бы с ним заговорить. К счастью он сам заговорил со мною.

— Чего приуныл, хлопчик? — спросил он.

Я посмотрел на него подозрительно. Нет, он не смеялся. Он, кажется, даже искренне сочувствовал мне.

Я рассказал ему, как печальны мои дела. Я был слаб от голода и отчаяния. В другое время я, может быть, и постыдился бы жаловаться незнакомому парню, но больно горькая была эта минута, и не было у меня сил приукрашивать своё положение. Парень выслушал меня внимательно и сказал:

— Ну, пойдём со мной. Накормим тебя и дело дадим. Голодать не будешь.

Я не понимал, куда он меня зовёт, да и не очень интересовался этим. За еду я пошёл бы с ним на край света. Но нам было гораздо ближе. Мы отправились на Третью Кобищанскую улицу. Я уже знал, что улица эта средоточие воровских притонов, что мирные люди вечером не заходят туда, чтобы не быть ограбленными. Я знал всё это, но мне было всё равно. Мне хотелось есть.

Я не знал того, что парень, который куда-то ведёт меня и обещает накормить, — это полтавская знаменитость, карманный вор Крамаренко, Васька Крамарь для товарищей по профессии, известный ещё под красивым прозвищем Прыщик. Впрочем, если бы я и знал это, я бы всё равно с ним пошёл. Мне очень хотелось есть.

С этого дня началась моя воровская жизнь. Хозяйка квартиры, куда привёл меня Крамаренко, была бубличница. В одной комнате стояла печь, где пеклись бублики, другая была предоставлена Крамаренко и его друзьям. Как я теперь догадываюсь, Васька был любовником хозяйки. В то время мне

это не приходило в голову. В комнате вечно толкался народ. Тут были ребята, мало говорившие о своей профессии и своих делах, тут были молодые девчонки, проститутки, с которыми мы все обходились по-товарищески. На столе не переводилась еда, часто появлялась водка. Вдоль стен стояли широкие кровати, на которых спали все вповалку.

Секреты этого дома узнал я гораздо позже. Первые дни я только отъедался. Ощущение постоянной сытости, совершенно непривычное для меня ощущение, вот, пожалуй, что мне больше всего запомнилось о первых днях пребывания у Крамаренко. Через несколько дней, когда я отъелся и окреп, когда во мне снова заиграла энергия и я из тощего вялого существа снова превратился в полного веселья парня, Крамаренко сказал, что надо мне приучаться к делу.

Я догадывался, о каком деле идёт речь. Бродячая жизнь многому меня научила. Я уже понимал, что нахожусь в шайке карманных воров, понимал и то, что кормят меня не из милости. Насколько я вспоминаю, никакие этические проблемы не вставали передо мной. Я твёрдо знал одно: до встречи с Васькой я был постоянно голоден, а теперь постоянно сыт. Это было соображение решающее, если не единственное.

ВОР-ГРАБИТЕЛЬ

Итак, я стал карманным воров. Сначала я должен был крутиться вокруг места кражи, чтобы в случае нужды создать толкотню или принять незаметно украденное от настоящего вора — словом, быть, так сказать, подсобником, ничем особенно не рискующим, но необходимым в этом деле. Меня, однако, такая второстепенная роль устраивала недолго, и скоро я перешёл на главные роли. Теперь другие крутились вокруг меня, а на мне лежала ответственная задача засунуть руку в чужой карман. Следует сказать, что воров я был удачливым. Ни разу за всё время моего пребывания в шайке я не только не попался, но даже и не был в рискованных положениях.

Что меня привлекало в кражах? Деньги? Нет, к ним я довольно скоро потерял интерес. Я уже забыл, что такое голод, и, в сущности, деньги мне были нужны только для картёжной игры. Я их отдавал очень легко, и мне никогда не было жалко. Скорее всего увлекал меня интерес спортивный. Хотя мне и было тогда только четырнадцать лет, всё-таки в своей среде, то есть в шайке, я пользовался уважением и авторитетом. Я приходил после очередной удачной кражи, обычно товарищи уже знали об обстоятельствах дела и о том, какую я проявил смелость и ловкость, и, конечно же, мне очень нравилось, что все смотрят на меня с уважением, даже с некоторым восторгом. Бродили какие-то и романтические мысли в моём мозгу. Вряд ли слышал я в то время о Робин Гуде и о других известных в литературе «благородных разбойниках», и всё-таки образ преступника, который, рискуя свободой и жизнью, крадёт у богатых несправедливо нажитые деньги, чтобы отдать их беднякам, в моём представлении существовал. Иначе нельзя объяснить трюк, который я проделывал неоднократно и всегда с большим удовольствием. Трюк этот был таков: мне становилось, предположим, известно, что в сыром подвале живёт бедная вдова прачка, которая одна растит пятерых детей. И вот после очередной удачной кражи или выигрыша в карты, а в карты я теперь играл постоянно и выигрывал много, я заворачиваю небольшой камушек в крупную денежную купюру и изо всех сил бросаю его в окно подвала. Звенит разбитое стекло, из подвала доносятся изобретательные проклятия бедной прачки. Я прячусь за углом и предвкушаю то, что непременно случится дальше. И в самом деле, прачка, разглядев, что камень, разбивший её стекло, завёрнут в целое богатство, по её представлениям, выскакивает на

улицу. Громко призывает она благословения мою голову. Я с удовольствием слушаю, и кажется мне, что я, неизвестный благодетель, искупил этим добрым поступком все свои преступления.

Нет, положим, не все. Чувство вины, вероятно, у меня было. Оно исчезало в момент «работы», когда мною владел азарт, когда я знал, что моей ловкостью восторгаются стоящие в толпе мои товарищи, что позже они об этом будут рассказывать в квартире на Третьей Кобищанской и там меня тоже будут хвалить и восторгаться мною. Но в более будничные минуты совесть всё-таки грызла меня, иначе, наверное, не молился бы я так горячо на рождество в церкви Крестовоздвиженского монастыря, не опускал бы деньги в кружку для бедных и на украшение храма.

Скоро я перешёл на более высокую, пожалуй, на высшую ступень преступного мира. Я стал грабить квартиры. Мало того, я стал верховодом целой шайки, которая ждала от меня распоряжений и беспрекословно их выполняла. У нас был наводчик-точильщик, который ходил по домам точить ножи, ножницы, наблюдал за порядком жизни хозяев, узнавал, когда квартира остаётся пустой и есть ли ценные вещи, тщательно осматривал замки. Потом появлялись мы, «рыцари удачи». Я командовал. Мы уносили мешки с награбленным добром к Каину. Каином у нас, да, кажется, и всюду, назывался скупщик краденого. Наш Каин работал истопником. Награбленное мы сносили к нему в подвал. Он нам давал деньги. Много! Гораздо больше, чем нужно было для удовлетворения наших потребностей, включая игру в карты. Мало! Гораздо меньше, чем награбленное стоило.

Сейчас, вспоминая то время, думаю, что хоть и лёгкая была у меня тогда жизнь, хоть и сопутствовала мне всё время удача, хоть и хватало мне денег и на еду, и на одежду, и на игру в карты, всё-таки инстинктом я ощущал страшную пустоту этой жизни. Хоть и был я маленьким дикарем, а всё-таки чувствовал, что живу не так, как должен. Да, конечно, чувствовал, иначе не бросил бы так легко свою блестяще складывающуюся «карьеру».

Произошло это совершенно неожиданно.

Надо сказать, что хотя проститутки у нас в доме на Третьей Кобищанской бывали постоянно и относились мы к ним потоварищески, ни с одной из них никогда не было у меня близких отношений. Я, да и все мы охотно давали им деньги, когда дела у них были плохи, охотно болтали с ними, но этим всё и ограничивалось. Влюбился я однажды в девушку, которую встретил на дороге. Она шла с бойни и несла телячьи ножки для студня. Мы с ней разговорились, оказалось, что отец её рабочий и

живут они в собственном домике. Я ей сказал, что работаю и зарабатываю хорошо. Иначе нельзя было объяснить мою, по тем временам, богатую одежду. Договорились, что я к ней на днях зайду. Я взял приятеля карманника Кирюшу Мица. Мы купили конфет и отправились. Шёл март восемнадцатого года, и конфеты были большой редкостью. Девушка удивилась такому подарку, но с удовольствием стала есть. Мы болтали, стоя у калитки, но очень скоро строгая мать позвала её домой. Отправились домой и мы с Кирюшой.

Здесь я должен сделать отступление. Шёл, повторяю, март восемнадцатого года. Четыре месяца прошло со дня Октябрьской революции. Политическая жизнь страны кипела. До хрипоты кричали на митингах ораторы, редела толпа, выражая сочувствие или протест. Уже почти все понимали, что дело миром не обойдётся. Собирались офицерские отряды защищать веру, царя и отечество, собирались рабочие отряды драться за социализм. До нас на нашей Третьей Кобищанской доносился только смутный гул, который, казалось нам, нас не касается. Симпатии наши были на стороне «красных» или «рабочих», хотя представляли мы их очень приблизительно. Мы считали, что тоже воюем против богатых. Значит, очевидно, мы были за бедных. Впрочем, волновала нас политика очень мало. Быт Полтавы пока ещё не изменился, и точильщик сообщал нам, что в богатых домах есть достаточно ценных вещей. Это нас действительно интересовало.

И всё-таки, повторяю, только тем, что я был глубоко неудовлетворен своей благополучною и легкой жизнью, можно объяснить то, что произошло в этот вечер.

Мы с Кирюшей шли мимо юнкерского училища, когда услышали в темноте крики и перестрелку. Мы подошли ближе. Какие-то люди торопливо переносили из училища на подводы пулемёты «максим», винтовки и патроны. От зрителей, которых, как это бывает, всегда немало стояло вокруг, мы узнали, что здание захвачено рабочим партизанским отрядом, который и выносит оружие, чтобы увезти в отряд. Мы стали вместе со всеми носить винтовки. Пожилой рабочий нас похвалил. Не помню уж, я или Кирюша спросил, не может ли он и нас зачислить в отряд. Он сказал, что зачислить не может, однако, если мы хотим, может представить нас командиру. Мы хотели. Нам предложили идти с отрядом. Мы пошли в компании с приветливым рабочим, шёпотом предупредил Кирюшу, что бы он не рассказывал о том, чем мы с ним занимаемся. Он понял меня с полуслова. Оба мы если не знали, то чувствовали, что занятие наше постыдно. Приехали мы в лес под Диканькой. Пожилой рабочий, который взялся представить нас командиру, спросил наши фамилии.

Услышав фамилию Калабалин, он удивился и попросил меня повторить.

Я заволновался. Может быть, он знает про меня что-нибудь нехорошее и меня не примут в отряд. Рабочий промолчал и ввёл нас в дом. За столом сидел вооружённый человек, перетянутый пулемётными лентами, несколько тоже вооружённых людей окружали его.

— Товарищ командир, — сказал рабочий, — я тут двух ребят привёл, в отряд просят. Один ваш однофамилец.

Человек, перетянутый пулемётными лентами, поднял голову. Это был мой старший брат Иван. Увидя меня, он радостно улыбнулся.

— Сенька, — сказал он, — нашёлся! Ну что ж, если у товарищей нет возражений, примем тебя в отряд.

Мы с братом расцеловались.

Всё-таки долго я был на земле один. Всё-таки долго не было у меня близкого человека. Я расплакался как очень маленький мальчишка.

— Тю! - ласково и шутливо сказал мне брат. Я благодарно заулыбался.

ПО ВЕРНОЙ ДОРОГЕ

Так я стал бойцом рабочего партизанского отряда, которым командовал мой брат Иван. Нам, рядовым бойцам и командирам, будущее отряда, революции, страны казалось ещё непонятным. Это был тот бурный период, когда в хаосе, взбудораженном революцией, выковывалась будущая Красная Армия. В то время ещё не было линии фронтов, вернее, фронты проходили везде. Возникали и буйствовали банды анархистов, гайдамаков, просто неизвестных людей, целью которых было пограбить. Оружием каждый отряд снабжал себя сам. И отряд брата вынужден был снабжаться оружием от противника: других способов не было.

В этом снабжении принимал некоторое участие и я: шнырял по Полтаве, следил за пьяными офицерами, вытаскивал у них маузеры и наганы. Между прочим, вспомнил я о склепе, в котором когда-то жил. Разыскал его. Квартира была не занята. Я хранил там оружие, добытое мною, пока его не удавалось переправить в отряд.

Скоро отряд занял Полтаву. Однажды я отправился навестить своих бывших коллег на Третью Кобищанскую. На нашей квартире не было почти никого из старых моих товарищей. Никаких лирических чувств у меня это посещение не вызвало. Я чувствовал, что теперешняя моя жизнь правильная, а та, старая, была нехорошая и нечистая. Я с удовольствием простился с несколькими знакомыми, которых ещё застал, и отправился к себе в отряд. В то время я носил уже военную форму, поскольку время партизанщины для отряда миновало. То ли воздух был такой особенный на Третьей Кобищанской, то ли воспоминания подействовали на меня вредоносным образом; но я, хотя у меня не было копейки денег, нанял извозчика и важно назвал ему адрес. У извозчика не возникло сомнений в моей платежеспособности: военная форма ручалась за меня.

Дом, куда я велел ему ехать, находился в двух шагах от штаба отряда, но, главное, в нём был проходной двор. Уж полтавские проходные дворы я к этому времени изучил досконально. Сказав извозчику, что я сейчас вынесу из дома мешок, я ушёл через проходной двор и отправился в штаб. По сравнению с прежними моими похождениями это была невинная шутка, но судьба меня наказала и предостерегла. Через полчаса меня позвали в один из отделов штаба. В комнате я застал жену одного из наших командиров, работавшую в штабе машинисткой. Рядом с ней стоял тот самый извозчик, которого, по моим

расчётам, я не должен был никогда больше видеть. Мы сразу узнали друг друга, встреча доставила мне мало удовольствия. Жена командира заплатила извозчику, но строго меня отчитала, возражать мне было нечего. Я запомнил этот урок.

Скоро отряд влился в 1-й Украинский советский полк имени Шевченко. Брат стал командиром второго батальона. Я был причислен к взводу разведки. Полк погрузили в эшелоны, и мы отправились в направлении на Херсон и Николаев сражаться с гайдамаками. Не только, впрочем, с гайдамаками. Там же где-то орудовала банда Григорьева, там появлялись и бесследно исчезали сегодня, чтобы завтра появиться снова, ещё десятки более мелких банд. Противник всюду. В стране бушевал хаос, и только первые частицы той организованной силы, которой стала Красная Армия через год, бесстрашно сражались с этим хаосом.

Мы заняли Херсон с налёту и освободили три тысячи херсонцев, запертых греко- румынами в амбарах. Вероятно, этих людей собирались уничтожить, но удалось освободить их вовремя.

Замечательную операцию провёл наш полк на станции Раздельная. Это большая узловая станция километрах в семидесяти от Одессы. Она была занята гайдамаками. Батальон, которым командовал мой брат, ворвался на станцию так неожиданно, что взял её почти без сопротивления. Мы захватили несколько десятков эшелонов с оружием, с обмундированием, с продуктами. Мы взяли орудия и пулемёты, снаряды и патроны, теперь наш полк был снабжён всем необходимым, предстояли большие дела. Полк пошёл на Тирасполь. Под Тирасполем я был легко ранен. Меня положили в госпиталь. Рана была пустяковая, и я пролежал недолго, если бы не заразился сыпным тифом. Тогда сыпной тиф косил красноармейцев не меньше, чем пули врага. Плакаты на стенах кричали, что «вошь враг социализма». Сейчас это звучит странно, но тогда это было действительно так.

Меня перевезли в Полтаву, я долго лежал в полтавском госпитале и вышел из него худой как тень и ослабевший до того, что еле волочил ноги. Я очень огорчился, что из-за раны и болезни не принимал участие в операциях своего полка. Полк за это время совершил много. О нём рассказывали удивительные истории. Не мало удивительного рассказали мне и о моём брате Иване. Он заслужил славу храброго и находчивого воина. В моих глазах образ его становился всё значительнее и ярче. Мне даже странно было, что мой родной брат, рабочий сахарного завода, выросший в той же семье, что и я, совершает подвиги, о которых рассказывают посторонние люди. Как горевал я, что меня не было с ним в то время, когда он сражался и побеждал, когда каждый

день угрожала ему опасность.

Очень я горевал об этом, но судьба готовила мне большее горе.

Жена Ивана жила в деревне Сторожево. Она ждала ребёнка, и вот, наконец, зашёл в штаб крестьянин из этой деревни и сообщил, что у Ивана родился сын. Время было такое, что несколько дней Иван не мог выбраться посмотреть сына. Наконец, командир полка отпустил его. С транспортом было плохо, и отправился Иван в Сторожево пешком. Посмотрел сына, поцеловал жену и двинулся пешком же обратно в полк.

Надо представить себе Украину тех дней. Сёла, в которых прячутся гайдамаки, в которых кулаки готовы выстрелить в каждого красноармейца, крестьянские дворы, в которых зарыты гранаты и пулемёты. Вероятно, действительно стал известен командир второго батальона полка имени Шевченко Иван Калабалин. В него выпустили из-за угла две пули и для верности ещё швырнули гранату. Он был убит, мой брат, отец новорождённого ребёнка.

Меня, только что вышедшего из госпиталя, устроили в рабочую семью, чтобы я отлежался и окреп после болезни. Эта семья, как и многие другие рабочие семьи, охотно брала на поправку выздоравливающих красноармейцев, в госпиталях мест не хватало. Они сами жили впроголодь, но с прибавкой моего пайка мы могли прокормиться.

Я был слаб и беспомощен, я не мог ходить. У меня подгибались ноги, меня шатало. Целые дни я лежал один и думал о гибели брата. Как я ненавидел проклятых гайдамаков, белых офицеров, скрывавшихся по деревням, кулаков, прятавших винтовки и пулемёты, чтобы стрелять из-за угла в наших бойцов.

Это был девятнадцатый год. Мне было шестнадцать лет. Любой сегодняшний третьеклассник образованнее, чем я был в то время. Ненависть к убийцам брата сжигала меня. Я старался лежать неподвижно, чтобы быстрее поправиться. У меня созрел план, который я торопился привести в исполнение. Я дал себе клятву отомстить за убийство брата.

ЛЕЧУ В ПРОПАСТЬ

Наконец, я снова здоров и крепок. Моя обязанность найти свой полк и вернуться в свой взвод разведки. Но, во-первых, полк имени Шевченко сражается где-то далеко от Полтавы, а во-вторых у меня есть более важная, более серьёзная обязанность – отомстить за убитого брата. Не тем именно людям, которые послали из-за угла две предательские пули. Этих людей теперь не найдёшь. Да и кто они эти люди? Пусть я не знаю их имен, но я твёрдо знаю, что это кулаки или украинские националисты. Я, Семён Калабалин, кулакам и националистам объявляю войну! Для этой войны я решаю собрать отряд. Сначала в этом отряде только пять человек, пять знакомых, которых я убедил в том, что мстить за убитого моего брата их прямая обязанность. Что можем сделать мы вшестером? Нас мало, надо отряд увеличить. Вокруг Полтавы кулацкие хутора, помещичьи усадьбы, там прячутся переодетые офицеры, скрываются гайдамаки, там каждый горит ненавистью к Советской власти, там в погребках укрыты пулемёты, обрезы, гранаты. Мы не знаем, кто убил брата, но это неважно. За его смерть отвечают все кулаки, все офицеры, все националисты.

Сейчас мне кажется даже странным, как быстро стал расти мой отряд. Самые разные люди охотно приставали к нам. У нас были и русские, и украинцы, и цыгане. Думаю, что сначала нас объединяла некая идея. Вряд ли это была идея мщения за смерть Ивана, многие из отряда его и не знали, о нём и не слышали. Может быть, это была идея борьбы с помещиками и кулаками, с офицерами и националистами? Да, вероятно, в первых наших налётах именно эта идея руководила нами.

Налетали мы на богатые помещичьи дома и кулацкие хутора. Что только не уносили мы оттуда! Одежды сколько хочешь и какой угодно, наганы, обрезы и пулемёты, еда какая хочешь и сколько хочешь.

Это было благодатное время для грабежей. Сколько могло скрываться вооружённых людей в помещичьей усадьбе или кулацком доме? Ну, пять человек, ну, десять. А нас было много. Нас становилось всё больше и больше. Скоро в отряде насчитывалось сто сорок человек.

Всё это был лихой народ. Боюсь, что большинством руководила одна нехитрая цель — пограбить. Мы были прекрасно одеты и хорошо вооружены. У нас были отличные лошади. Мы почти не встречали сопротивления. Слухи мчались впереди отряда. Нас боялись, перед нами беспрекословно распаивали

ворота.

Нам отпирали, или мы сами взламывали заветные сундуки. Мы разбрасывали по полу накопленное добро и брали то, что подороже или что понравилось кому-нибудь из нас. Если дело было к ночи, мы заставляли хозяев накрыть на стол и пировали допоздна.

Выставив часовых, мы спали вповалку и уезжали утром.

Часто, отъехав несколько километров, мы бросали у дороги шубы и сапоги, куски полотна и знаменитых украинских смушек: нам не нужно, кому нужно, пусть подберёт.

Мы ничего не ценили. Мы знали, что в следующей усадьбе, на следующем хуторе возьмём ещё больше!

Как ни странно, командовать отрядом продолжал я. Говорю странно, потому что мне было только шестнадцать лет. Сейчас я думаю, что отряд признавал меня командиром потому только, что в общем всем было безразлично, кто, собственно, командует. Когда перепуганные хозяева открывали ворота и мы врывались в хутор, каждый брал что хотел и тут командир был ему не указчик. Ну, а кто скомандует отход — не всё ли равно?

Так мы носились по районам, ближним к Полтаве, точно стая волков, не думая о будущем, не дорожа награбленным, уверенная в себе, обнаглевшая банда. Думал ли я в то время о том, как получилось, что вместо мщения за убийство брата я занимаюсь самым обыкновенным грабежом? Не помню. Помню только, что в глубине души я чувствовал: всё получается не так, как должно было быть. В самом деле, когда-то я представлял себе некий орден мстителей, некое общество людей, живущих одной высокой и благородной целью. Я не мог не отдавать себе отчёта в том, что мы не знали, были те, кого мы грабили, украинскими националистами или просто богатыми крестьянами. Имели они отношение к убийству моего брата и ко многим другим убийствам советских работников и командиров или не имели. Нас интересовало только одно: найдём мы чем поживиться? Сможем мы обменять пару коней на лучших? Найдём ли что-нибудь стоящее из одежды, такое, чего ещё нет у нас, или есть, но не у всех? Хорошо ли, наконец, угостят нас ограбленные? Сперва я ещё пытался узнать, кто эти люди, к которым мы ворвались, сундуки которых мы взламываем, у которых отбираем бережно хранимые богатства. Но как мы могли узнать, что это за люди, если все одинаково прикидывались мирными хозяевами, все одинаково отрицали за собой всякую вину?

И, снова набрав ненужного барахла, мы выезжали из ворот, оставляя озлобленных, проклинающих нас людей, чтобы выбросить большую часть барахла прямо в грязь за первым

поворотом дороги.

Формально командиром считался я. Но, в сущности говоря, не я командовал отрядом, а отряд командовал мною. Я не мог запретить грабить. Если я начинал говорить о мщении за смерть брата, меня просто не слушали или слушали, думая о своём. Я мог только отдавать команды, такие, которые кто-нибудь всё равно должен был отдавать. Я ехал впереди отряда, безусый юнец в кожаной куртке, и знал, что завтра будет то же, что сегодня: испуганные глаза хозяев, взломанные сундуки, грабёж ненужных нам вещей. Этому не было конца. Да и какой мог быть этому конец! День шёл за днём. Один не отличался от другого, пока однажды в одной деревне нам не сказали, что по нашим следам идёт конный резерв полтавской милиции. Мы сначала не придали этому значения, нам казалось, что наш отряд так силен, что никакой конный резерв нам не страшен.

КОННЫЙ РЕЗЕРВ МИЛИЦИИ

Через несколько дней мы опять услышали о конном резерве милиции. В каждом селе хоть у кого-нибудь из отряда находился родственник или дружок, который сообщал нам последние сведения: где находится резерв, куда он, по слухам, направляется завтра. Но, вероятно, и у бойцов конного резерва милиции тоже были в каждом селе родственники и знакомые. В конном резерве милиции тоже знали где мы были вчера и куда мы собирались двинуться дальше. Мы носились по дорогам и сёлам Полтавщины, как будто привязанные друг к другу. Только что, сделав неожиданный маневр, мы уходили от резерва, как назавтра в следующем селе нам уже сообщали печальные новости: конная милиция снова напала на след, конная милиция снова идёт за нами.

Расстояние между отрядом и милицией могло сегодня быть больше, чем вчера, но в общем оно неуклонно сокращалось. Видимо, милиция взялась за нас всерьёз. Мы по-прежнему лихо налетали на хутор или усадьбу, но нам уже не так легко открывали ворота. Приходилось спорить и угрожать. Иногда приходилось врываться силой. Мы уже не решались, ограбив хозяев, требовать, чтобы нам накрыли стол. Мы уже не решались после шумного ужина улечься спать, выставив для страховки часовых. Мы торопились исчезнуть. Мы знали, наверное, что, когда мы врывались на хутор, незаметный хлопец или дивчина уходили с хутора задами, чтобы разыскать начальника резерва. У нас исчезло чувство безопасности, а значит, исчезла и уверенность в собственной силе.

Доходили слухи, что начальник резерва человек упрямый и боевой. Доходили слухи, что от начальника резерва, когда уже он пустился в погоню, не спрятаться и не оторваться. Конный резерв милиции день за днём неуклонно шёл по нашим следам.

Настал день, когда мы оказались в кольце. Вероятно, хорошо был информирован о наших передвижениях начальник резерва. Его отряды заняли все дороги, по которым мы могли бы уйти из кольца. Соппротивление было бессмысленно. В нашей шайке было много храбрых людей, и всё-таки как боевая единица мы никуда не годились. Мы были способны лихо налететь на беззащитный хутор, напугать всё село, промчавшись по главной улице, но к правильной обороне мы не были способны. Мы вообще не могли сражаться с организованной воинской частью. А наши информаторы сообщали, что в конном резерве строгая

дисциплина, опытные командиры и отчаянные бойцы.

Ох, как далеко было нашему сброду до настоящей воинской части. Как только стало ясно, что мы окружены, лихой дух ватаги сразу резко упал. Ещё вчера вокруг меня были, казалось, смельчаки, бесстрашно нападавшие на хутора и усадьбы, лихие вояки, не боявшиеся ни чёрта. Куда делась теперь их лихость, их бесшабашность и уверенность в себе. Мрачные люди были вокруг меня, и если они не разбежались, то потому только, что некуда было бежать. Нельзя было даже разойтись по одному, потому что в каждом из окрестных сёл одинокого бандита не задумались бы схватить и выдать. Очень уж мы осточертели населению Полтавщины.

А конный резерв милиции начал сжимать кольцо. Всё меньше становился район, в котором мы могли передвигаться. Наконец нам осталось одно: молча ждать, пока нас возьмут в плен. Все дали клятву не выдавать атамана. Было, мол, объединение на свободных началах. Никакого начальства, все одинаково грабили, все одинаково и должны отвечать. Мы надеялись, что не станут расстреливать сто сорок человек.

Наконец, мы увидели, как из ближайшего леса вышел в конном строю отряд резерва милиции.

Соппротивление было бессмысленно. Мы мрачно ждали конца. Нас обезоружили и разместили в ближайшем селе. По одному вызывали нас на допрос. Мы перестали быть отрядом мстителей. Впрочем, были ли мы мстителями когда-нибудь? Мы перестали быть даже разбойничьей шайкой. Мы были просто пойманные преступники, каждый из которых мог надеяться только на то, что вымолит себе наказание помягче.

Я надеялся, что хлопцы сдержат слово и не выдадут меня. Но то ли кого-нибудь из них припугнули, и он разболтал со страху, то ли просто настроение было такое, что, мол, снявши голову, нечего плакать по волосам, во всяком случае, очень скоро узнали, что я атаман. Меня повели на допрос к самому начальнику конного резерва. Я шёл мрачный, опустив голову. Что я мог сказать в своё оправдание? Что я собирался мстить за убийство брата Ивана? Кто мне поверит, когда сотни свидетелей покажут, что отряд занимался только грабежами, только налётами, что никто и не слышал о какой-то мести. Сколько угодно можно было раздумывать о том, как это получилось. Важно было то, что получилось именно так.

Меня ввели в хату, где начальник конного резерва должен был допрашивать атамана «отряда мстителей». Я стоял опустив голову. Отрицать что-нибудь было бессмысленно, признаваться было, в сущности, не в чем, всё было известно и так.

И вот я услышал голос, показавшийся мне знакомым.

— Сенечка, — сказал начальник конного резерва милиции, — ты бы голову поднял, братец милый.

Я поднял голову. За столом сидел второй из моих старших братьев, Ефим. Нехорошая улыбка была у него на лице.

Я не обрадовался и не огорчился. Я даже не удивился. Я был в состоянии, в котором ничто не могло произвести на меня впечатление. Ефим встал из-за стола и подошёл ко мне, держа плётку в руках. Лицо у него подергивалось от злости.

— Ну что ж, поцелуемся? — спросил он и изо всей силы ударил меня плёткой.

Я был в кожаной куртке, поэтому боли не почувствовал, и всё-таки вздрогнул. Не от боли, а оттого, что очень уж страшно было получить непереносимый этот по оскорбительности удар от родного моего брата Ефима.

По-моему, Ефим не задал мне ни одного вопроса, наверное, он счёл это за лишнее. Ему было известно достаточно, чтобы быть уверенным в моей вине. Вероятно, если бы он и стал меня допрашивать, я бы не сказал ни слова. Я просто не в силах был рассказать ему о своих винах и преступлениях. Не мог же я в самом деле рассказывать о намерении моём отомстить за брата Ивана. Что значили мои слова по сравнению с показаниями десятков или сотен ограбленных.

Ефим распорядился, и меня увели. Утром под конвоем отправили меня в Полтаву, в Чрезвычайную Комиссию, в ЧК, как все её сокращенно называли. Я понимал, что мне пришёл конец. Я не сердился на Ефима и не собирался оправдываться. Я был в состоянии отупения. Я знал, что меня ждёт, и не думал спорить. Всё что мне предстояло, я заслужил.

Камеры полтавской тюрьмы в то время были набиты народом. С какими же разными людьми мне довелось там встретиться! Здесь были украинские националисты со свисающими вниз длинными усами, делающие вид, что ни слова не говорят по-русски. Были и кулаки с глазами, горящими ненавистью, те самые, которые прячут в соломе обрезы и пулемёты. Были царские офицеры, очень похожие на тех пучеглазых братьев Голтвянских, которых когда-то я так боялся. Были, наконец, попы, проповедовавшие не кротость и смирение, а кровавую войну, не мир, но меч, не духовные пастыри, а руководители подполья и организаторы заговоров. Конечно, кто-нибудь из сидевших со мной или из их друзей послал из-за угла пули, убившие моего брата Ивана. Именно им или их друзьям собирался я мстить. Как же получилось так, что я сижу с ними в одной камере, если не за общую вину, то за схожие преступления? Как получилось, что я

стал врагом моему брату Ефиму и был бы, наверно, врагом Ивану, если бы он был жив? Я думал и передумывал, и в голове моей не укладывалось, как же это всё-таки получилось.

Когда меня вызывали на допрос, я ничего не отрицал. В самом деле, все обвинения были справедливы. Грабил, разбойничал, врвался в чужие дома с целью личного обогащения. А с какой же другой целью? Не мог же я, в самом деле, объяснить хмурому, серьёзному следователю, что всё это я делал, видите ли, для того, чтобы отомстить за убитого украинскими националистами большевика Ивана Калабалина. Это прозвучало бы издевательски. Кто бы мне поверил? Да я и сам уже не верил в это.

Итак, я подтверждал все обвинения, которые мне предъявлялись. Да, этот хутор ограбил. И эту усадьбу тоже ограбил. Лисий салоп взял? Взял. Куда его дел?

Я не помню лисьего салапа, но, может быть, кто-нибудь из банды действительно прихватил его в суматохе. Скорее всего так и было. Куда он его дел? Кто его знает. Может, захотелось выпить и сменял на самогонку, а может, показалось тяжело тащить, и выбросил в канаву на повороте дороги. Какую роль мог играть лишний салоп, даже лишний налёт на хутор или усадьбу в бесконечно длинном списке преступлений моих и моей шайки.

Я не спорил ни с чем. Я признавался во всём. И в том, что, наверное, было правдой, и в том, чего, может, совсем не было. Вероятно, следствие по моему делу было очень лёгким. Поэтому оно быстро кончилось. Чрезвычайная Комиссия меня приговорила к расстрелу. Так заявил мне следователь. Может, такого решения ЧК и не было, но в камеру смертников меня перевели. Вот уж где я оказался среди отборных негодяев. Всем, кто сидел в нашей камере, терять было нечего, поэтому разговоры велись откровенные. Чего только не наслушался я! С какой ненавистью здесь говорили о большевиках и о Красной Армии. Несколько раз с проклятиями поминали и полк имени Шевченко, разведчиком в котором я был когда-то, батальоном которого командовал Иван. Не мог же я, в самом деле, вдруг здесь, в камере смертников, защищать Советскую власть и Красную Армию. Наверное, если бы я попробовал, все бы смеялись, слушая меня. Кто был я сам? Такой же, как они, главарь бандитской шайки. Объявлять себя красным было глупо. Может быть, сидевшие в моей камере заподозрили бы меня в трусливом расчёте на то, что Чрезвычайная Комиссия, узнав о моих просоветских высказываниях, растрогается и отменит свой приговор, то есть меня бы заподозрили не только в глупости, но и в подлости. Я молчал.

Каждый день несколько человек уводили из камеры на расстрел. Некоторые плакали, некоторые крестились, некоторые уходили в полубессознательном состоянии, не помню, чтобы были какие-нибудь трогательные прощания, объятия, слёзы. Всем предстояла смерть, и каждый думал о себе. Когда кончали читать список вызванных на сегодня, у тех, кто не был в этом списке, веселели лица. Они считали, что им повезло. Ещё бы, им наверняка предстоят ещё сутки жизни. Сутки жизни в этой грязной, тесной и мрачной камере.

Новичков в нашу камеру не приводили. Не знаю, потому ли, что наиболее крупные заговоры были ликвидированы и волна репрессий ослабела, или напряжённая борьба продолжалась, а смертников помещали в другом месте.

Наша камера пустела. Настал, наконец, день, когда я остался один. Последнюю группу: двух кулаков, трёх офицеров и одного попа — увели. Пока читали список, я был уверен, что услышу и свою фамилию, но её в списке не оказалось. Шестеро уходящих даже не простились со мной. Они были слишком заняты тем, что им предстояло. Я остался в камере один. Хотя я знал точно, что не сегодня-завтра буду расстрелян и расстреляют за дело, так что и обижаться-то не на что, хотя внешне я был, кажется, спокоен, даже равнодушен ко всему, всё-таки во мне шевелились какие-то чувства, какие-то мысли бродили в моей голове, на что-то, наверное, я, даже не понимая этого, надеялся, как-то прикидывал, когда меня расстреляют.

Я оставался один в этой проклятой камере. Кажется, я был не совсем нормален. Я плохо помню, как прошли следующие сутки. Снова настало утро, и, когда в камеру вошли, у меня не оставалось надежды, я был один, значит, пришли за мной. Действительно, назвали мою фамилию, имя и отчество. Я встал. Мы, конвоир и я, вышли в коридор. Все, кого вели на расстрел, я точно помнил, поворачивали по коридору направо. Меня повели налево. У меня не проснулись никакой надежды или недоумения. Переутомлённый мозг просто отметил: меня почему-то повели не туда, куда отводили других.

Привели меня к следователю, тому самому, который уже много раз меня допрашивал. Он посмотрел на меня, как всегда, хмуро и раздражённо. Он задал мне несколько дополнительных и, по-моему, лишних вопросов. Потом он сказал, я не помню какими словами, что меня не расстреляют. Не помню, что я почувствовал и подумал в эту минуту. Кажется, ничего. Следователь не сказал мне, помилован я или решение ЧК пересмотрено. Он сообщил, что не расстреляют, и всё. Я выслушал это с неизменившимся лицом и ничего в ответ не сказал. Следователь вызвал конвоиров,

и меня повели обратно, в ту же самую, пустую теперь, камеру смертников. Когда дверь за мною закрылась, я сел на нары и заплакал. Плакал долго, беззвучно и неожиданно уснул. Мне снились страшные сны. Какие-то пиявки впились в моё тело. Я метался и кричал во сне и сам слышал свой крик. На меня напали отъевшиеся клопы. Они привыкли, что в камере много людей, и свирепо набросились на одного.

Я просыпался от страха и, не придя в себя, засыпал снова. Так прошла ещё ночь и ещё день. Наконец, за мной пришли. Меня отвели в губернскую тюрьму. Здесь началась нормальная тюремная повседневность, ожидание очередной еды, вынос параша, ленивые разговоры ни о чём.

В этой тюрьме я просидел три месяца.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК ДЕЛАЕТ СТРАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

День походил на день. В тюремной камере ничто не менялось. Та же скудная еда времён военного коммунизма, те же тоскливые заботы тюремной камеры, та же похлёбка из ячменя, распорядок дежурств, очередь уборки. День как день, и дням этим нет конца.

Как я теперь понимаю, никто не знал, что, собственно, со мной следует делать. Расстрелу я, вероятно, не подлежал, как несовершеннолетний. Освобождению тоже не мог подлежать, как преступник, и преступник серьёзный. Осудить меня на несколько лет заключения? Но кто мог в то время взять на себя такую обузу — несколько лет содержать заключённого? Новый строй боролся за существование. Его сторонники считали, что со дня на день наступит мировая революция, а противники ждали, что со дня на день он рухнет. В обстановке напряжённой борьбы бандитов расстреливали нещадно. И вдруг нашёлся бандит, которого расстреливать нельзя. Со мною просто не знали, что делать. Вот я и сидел, ел ячменную похлёбку, в очередь убирал камеру и выносил парашу, и казалось мне, повторяю, что эта однообразная и тоскливая жизнь не кончится никогда.

И вот 20 декабря 1920 года меня вызвали из камеры. Вызывали меня, конечно, и раньше. Я предполагал, что опять повторится очередной допрос, то ли потому, что дело попало к новому следователю, то ли приехало начальство решать, что со мною делать. Снова, наверное, выслушают мои много раз повторенные показания, снова будут думать, как быть, если и расстрелять меня нельзя и отпустить на волю опасно.

Привели меня в кабинет начальника тюрьмы, в котором я и раньше неоднократно бывал. Начальник тюрьмы сидел за письменным столом. В кресле перед ним сидел незнакомый мне человек. Был он в поношенной шинельке, в очках. Ничто в нём не привлекло моего внимания, ничто не показалось из ряда вон выходящим. Это мог быть какой-нибудь «комиссар», проверяющий заключённых, или, как я думал и раньше, какой-нибудь новый следователь.

Неизвестный человек посмотрел на меня, встал и сказал:

— Извини, пожалуйста. Из-за меня тебя побеспокоили и пригласили в кабинет.

Правду сказать, я не помнил, чтобы следователи извинялись

перед заключёнными. Я промышал что-то неопределённое. Он назвал мне свою фамилию — Макаренко. Сказал как-то между прочим: «А тебя, кажется, Семёном зовут? Вот и хорошо. Мы с тобою почти тёзки — меня зовут Антон Семёнович».

После этого он начал излагать своё дело. Напомню: был декабрь двадцатого года. То, что сейчас, почти через полвека, могло показаться обыкновенным, в то время должно было своей неожиданной новизной произвести на меня впечатление ошеломляющее. Должно было произвести, но не произвело.

Макаренко тоном очень обыкновенным, по-видимому, совершенно не стараясь произвести на меня впечатление, заговорил о том, что, мол, недалеко от Полтавы создаётся трудовая колония и что он предлагает мне в эту колонию перейти. Я не помню, разумеется, какими словами эту колонию описывал мне Макаренко. Во всяком случае, рассказ его ни в какой степени меня не поразил. Почему-то представилось мне довольно тоскливое место и не очень сытая жизнь. Во всяком случае, точно могу сказать, что никакого радостного возбуждения, никакого предвкушения новой радостной жизни я не испытал. Немного, как я уже говорил, удивило то, что он передо мной извинился, но это показалось мне просто чудачеством, а вовсе не признаком нового ко мне отношения. Запомнилось из его слов, что в колонии, кроме земли, будут и мастерские и что он надеется, если ребята ему помогут, что из колонии может получиться толк. О планах своих он говорил не очень уверенно, стараясь как бы внушить мне: всё это только попытка, и что из этого получится — предсказать трудно. Закончил он фразой, тоже в тюремных условиях необычной, но сказанной так просто, что вся её необычность стала мне ясной гораздо позже. Смысл этой фразы заключался приблизительно в том, что если, мол, ты, Семён Калабалин, разделяешь мою точку зрения и тоже думаешь, что из колонии может выйти толк, то, мол, давай попробуем.

За всё время пока этот загадочный Макаренко нарочито прозаическим тоном излагал свои очень скромные планы, начальник тюрьмы не произнёс ни одного слова. Я-то знал, что всё равно именно начальник здесь главный и от него всё зависит. Я-то краем глаза посматривал, думал, может, он улыбнётся, кивнёт, так сказать, подтверждая этой улыбкой или кивком, что он, мол, начальник тюрьмы, не возражает против моего ухода. Но начальник ни разу не кивнул и не улыбнулся. Он сидел с неподвижным лицом, ничем не выражая своего отношения к словам странного посетителя. Молчал и я, не зная что отвечать.

— Ну, так как ты решаешь? — спросил Макаренко.

Я пробурчал что-то не очень внятное, из чего, впрочем, можно было понять, что не возражаю.

Я ВЫХОЖУ ИЗ ТЮРЬМЫ

Не помню, тогда ли мне пришло в голову, что за всё время после ареста впервые я получил возможность сам решать вопрос, касающийся моей судьбы. Скорее всего я потом подумал об этом. Вероятно, в то время меня заставила согласиться просто жажда перемен. Вероятно, на что угодно согласился бы я ради того, чтобы избавиться от бесконечного однообразия жизни в камере, от тоскливых разговоров с другими заключёнными, разговоров ни о чём, потому что всё интересное давно переговорено, а говорить надо, чтобы не сойти с ума от тоски.

— Ну что ж, — сказал Макаренко, — тогда пойдёшь к себе в комнату, собери вещи и отправимся.

Я довольно смущенно объяснил, что своей комнаты у меня здесь нет и вообще ходить незачем, поскольку вещей у меня, собственно говоря, нет. Всё при мне.

При этом я ещё раз кинул взгляд на начальника тюрьмы. Я ждал, что он как-нибудь запротестует или по крайней мере скажет, что, мол, нужно соблюсти некоторые формальности, проделать некоторые процедуры. Но он по-прежнему молчал, как будто не слышал, и лицо его по-прежнему не выражало ничего.

Макаренко не придал, по-видимому, никакого значения тому, что у меня нет вещей.

— Ну что ж, тогда пошли, — сказал он, вставая. Он снял с гвоздя, вбитого в стену, башлык — в декабре в Полтаве бывают большие морозы — и, протянув руку начальнику тюрьмы, сказал: - Спасибо. Значит, мы пошли, до свиданья.

Начальник тюрьмы пожал руку Макаренко и тоже сказал: «До свиданья».

Следовало, очевидно, попрощаться с начальником тюрьмы и мне. Надо сказать, что я находился в расстроенных чувствах. Я привык к тому, что ходить мне можно только с конвоиром, и не понимал, пойдёт ли со мной конвоир и в эту колонию. А без конвоира кто же меня выпустит из тюрьмы. Тут у всех выходов часовые.

Наконец, должен ли я протянуть руку начальнику тюрьмы или лучше не рисковать и руку не протягивать, а просто кивнуть головой. Но это тоже рискованно. «Как это до свиданья? — скажет начальник тюрьмы. — Хорошенькое дело! Заключённый вдруг собирается уйти! Кто же это ему позволит!»

— До свиданья, — кивнул мне начальник.

Я ответил: «До свиданья».

Пожалуй, в эти минуты мне больше всего хотелось просто выйти за ворота. Я был совсем не уверен, что это удастся. Есть ещё проходная, и часовые, и замки, и ключи. Что-то я не видел, чтобы писались какие-нибудь пропуска, подписывались какие-нибудь акты...

Макаренко замотал башлык вокруг шеи и повторил очень спокойно, не придавая, по-видимому, этому никакого значения.

— Ну, пошли.

И вышел в дверь. За ним вышел и я.

Казалось, что мы с Макаренко вдруг стали невидимы. Мы проходили мимо часовых, а часовые на нас не обращали внимания, и, кажется, даже не замечали, что мы идём. Когда мы подходили к запертой двери, дежурный молча отпирал замок и распахивал перед нами дверь. Нас никто и ни о чём не спрашивал. У Макаренко был такой вид, как будто это совершенно естественно, как будто так и положено, не спрашивая пропуска, выпускать заключённого из тюрьмы. Сколько уж лет прошло с тех пор, а я всё не могу забыть этот короткий путь от кабинета начальника тюрьмы до обыкновенной полтавской улицы. На моих глазах совершались чудеса, отпирались замки, растворялись двери, часовые отводили глаза. А спутник мой этих чудес не замечал.

Он как будто считал всё удивительное, что проходило, совершенно нормальным. Наконец распахнулась последняя дверь, и мы вышли из тюремных ворот.

Даже воздух был здесь совсем другой, чем в тюрьме. У меня голова закружилась, когда я увидел такую привычную прежде Полтавскую улицу. Молча мы шагали по тротуару. Я ни о чём не думал. Я просто наслаждался воздухом, ходьбой, свободой. Мы прошли метров двести, когда Макаренко вдруг остановился.

— Ах, неудача, — сказал он. — Забыл, понимаешь, у начальника тюрьмы башлык. Придётся вернуться. Ты подожди меня.

Он не оглядываясь зашагал обратно к тюрьме. Я остался один. Я стоял растерянный. Чудеса продолжались. Этот человек не только вывел меня из тюрьмы, но и оставил на улице одного. Даже не оглядывается. Даже не смотрит, не убежал ли я. А мне убежать ничего не стоит. Шагнул за угол и пропал.

Однако я стоял и смотрел на Антона Семёновича. Я видел, как он стучал в дверь, как приоткрылся глазок, изнутри на него посмотрели, как дверь открылась и снова закрылась за ним. Только в последнюю секунду перед тем, как он исчез за дверью, я понял, что башлык-то ведь на нём. Тот самый башлык, который он будто бы забыл в кабинете начальника тюрьмы. Не знаю,

почему я не убежал. Наверное, просто не хватило внутренних сил. Слишком много мне пришлось пережить за последние месяцы. Наконец-то поверил я человеку. Наконец показалось мне, что жизнь моя изменится к лучшему, и вот опять... Мрачный стоял я и не отрываясь смотрел на закрытую дверь тюрьмы.

Я ПОЛУЧАЮ ВАЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Дверь долго была закрыта. Когда она, наконец, открылась, я был готов к самому худшему. Но Макаренко вышел из тюрьмы один. Шея его была по-прежнему закутана башлыком. Он удивительно спокойно сказал:

— Ну, пошли.

Ни в дороге, ни после в колонии я его не спросил, зачем он ходил в тюрьму, если башлык, который он будто бы там оставил, был на нём.

И вот мы пошли по улицам когда-то такой дорогой для меня, а теперь такой мне чужой Полтавы. Мир мой, так долго ограниченный четырьмя стенами камеры, расширился до прежних размеров. Каждый дом, каждая улица, каждый закоулок был мне когда-то знаком. Я узнавал и не узнавал их. Как они изменились за время нашего расставания. Неужели по этой улице шёл я когда-то с дедушкой Онуфрием, державшим меня за плечо. Неужели в этом магазине, витрины которого сейчас заколочены досками, я когда-то крал деньги у зазевавшегося покупателя. Как будто всё тогда выглядело иначе.

Теперь я понимаю, что дело не только в том, что витрины магазинов в ту холодную, голодную зиму были наглухо забиты, и не только в том, что дома как будто облупились и постарели, что многолюдная, оживлённая, любимая моя Полтава стала мёртвым, заваленным снегом, пустынным городом. Дело ещё и в том, и это может быть самое главное, что за это время изменился я сам. Я был ещё диким зверьком, в котором было много плохого, и хоть очень немного, но всё-таки было хорошее. Но я не был уже несмышлёнышем, не отличающим злое от доброго, принимающим зло и добро, как данность, не подлежащую суждению. Я ещё не мог бороться со злом, но я уже умел отличать его от добра.

Итак, голова моя ходила как на шарнирах. Я смотрел по сторонам, узнавал или не узнавал знакомый дом, переулок, улицу. Иногда я вспоминал о тюрьме и тогда невольно оглядывался, смотрел: вдруг да крадётся сзади по заснеженной улице конвой. Впрочем, тут же я успокаивал себя. Видно, на этого человека, который шагал рядом, можно положиться. Вероятно, и он мне на самом деле верил. Ему ж ничего не стоило попросить у начальника тюрьмы конвой, если не сразу, то хотя бы тогда, когда он вернулся в тюрьму за забытым им башлыком. Конечно, башлык он не забывал, и зачем он возвращался, я не знаю, но так или

иначе конвоя сзади нет, мы идём по пустынной улице, и мне ничего не стоит, если б я захотел, нырнуть в любой проходной двор, которых сколько угодно я знал по Полтаве. Ищи свищи тогда Семёна Калабалина. Но Семёну Калабалину хотелось другого. Ему хотелось шагать не рядом с Макаренко, а впереди, чтобы таинственный этот человек всё время видел: вот он, Семён, которому я поверил и который поэтому не обманет меня и не убежит. До сих пор я не знаю, понимал в то время Антон Семёнович моё состояние или не понимал. Может быть, и не понимал. Напомню, что в декабре двадцатого года лет ему было тридцать с небольшим, что только три года, как он кончил педагогический институт. Что только два года он заведовал школой, обыкновенной школой, в которой учились обыкновенные дети с обыкновенными детскими судьбами. Напомню, что тот эксперимент, к осуществлению которого он приступал в те дни, не имел подобного себе во всей истории человечества. Что он вступал на путь, по которому ещё никто никогда не ходил.

А скорее всего всё-таки он понимал, что творилось в моей душе. Понимал, потому что смело шёл на отчаянный риск, потому что каким-то шестым, наверное, чувством знал, что я не убегу, и не убегу потому именно, что могу легко убежать. Да, наверное, понимал, но виду не показывал. Он говорил, говорил, говорил. Ни о чём, просто так, о ерунде. Он не затруднял себя выбором темы, говорил первое, что приходило в голову: «Да, подвалило снежку»; «Да, морозец прихватывает»; «Теперь с интервентами в основном покончено»; «Теперь пойдёт дело, ого!»

Он говорил всё это для того только, чтобы вызвать меня на разговор, чтобы создать у меня впечатление, что ничего удивительного не происходит. Просто идут по пустынной улице два человека и разговаривают обо всём, что приходит в голову.

Вызвать на разговор в настоящем смысле ему меня не удалось. Я отвечал короткими и мало что выражающими словами «гм», «угу». И всё-таки, несмотря на невразумительность моих ответов, что-то вроде разговора получалось, и самочувствие моё становилось всё лучше.

Да, действительно: идут два человека, разговаривают. Всё нормально. Ничего особенного не происходит.

Наконец мы вошли в какой-то двор. Во дворе уныло дремала лошадь запряжённая в высоченную бричку.

— Вот, знакомься, — сказал Антон Семёнович, — это наш Малыш. На нём мы с тобой и помчимся в педагогические пенаты.

То, что лошадь зовут Малыш, это я понял, и то, что на высокой бричке мы поедem, это я тоже понял. А что такое педагогические пенаты — не понял. Оба слова показались мне

совершенно загадочными.

— Теперь вот какая у меня к тебе просьба, Семён. Уже около трёх часов. Времени в обрез. Пока я буду бегать по кабинетам, будь другом, получи продукты для колонии. Получать надо там, в полуподвале, видишь?

Небрежно, видимо не придавая этому никакого значения, протянул он мне маленькую пачку ордеров.

Я стоял молча и не брал ордера.

— Ну что же, — спросил Макаренко, — ты, может, неграмотный, расписаться не сможешь?

— Да нет, грамотный, — хрипло ответил я.

— Ну и хорошо. Всякие горшки, мешки и мешочки в бричке под соломой.

Он всунул мне в руку ордера, повернулся и пошёл. Потом остановился и заговорил, как-то смущаясь, будто даже виновато:

— Знаешь, Семён, у меня с этими продуктами вечно неладно получается. Не то меня обсчитывают или обвешивают, не то я сам сослепу путаю, так что, пожалуйста, будь внимателен.

После этого он ушёл.

Я остался в совершенной растерянности. «Может, он решил меня испытать, — размышлял я, стоя посреди двора. — Мало того, что забрал из тюрьмы и одного оставил на улице, как будто я и убежать не могу, так теперь ещё ордера всучил. Может, это проверка? Стану я удирать, а часовые меня захватят». — Я огляделся. Двор был пуст. Даже из окон, кажется, никто на меня не смотрел. Не то чтобы я решил убежать, хотя мысль о бегстве бродила у меня в голове.

Не то чтобы я твёрдо решил остаться. Хотя бродила у меня в голове и такая мысль. Так или иначе убежать можно было и после, а пока надо было получать продукты. Я отправился на склад.

ВЫПОЛНЯЮ БОЛЬШЕ, ЧЕМ МНЕ ПОРУЧЕНО

По совести говоря, на складе я не заметил, чтобы меня пытались обвесить. Мне аккуратно выдали то, что причиталось по ордерам. Я всё уложил в мешки, в мешочки и в глечики — горшки. Всё снёс в бричку и прикрыл соломой. Теперь оставалось ждать Макаренко. Пока можно было спокойно подумать о нём. Я и думал. Не могу сказать, чтобы это были связные рассуждения или цепь догадок. Мысли толпились у меня в голове, совершенно не связанные друг с другом. Возникали и сразу опровергались самые неожиданные догадки, вплоть до того, что Антон Семёнович гипнотизер. В своё время доходили до меня самые невероятные слухи о гипнотизерах. «Как всё-таки чудно получилось, — думал я, — сидел, сидел в тюрьме, вдруг пришёл какой-то Макаренко, взял и вывел». Иногда мне представлялось, что я хозяйственный человек, заслуживающий полного доверия, и что совершенно естественно, мне поручают ордера и продукты. Но тут же я вспоминал о своём прошлом, и мне приходила в голову гораздо более вероятная мысль, что ордера и продукты мне может доверить только человек ненормальный, как у нас на Украине говорят «чудной». Словом, мысли толкались в голове без всякого смысла. Слишком мало я видел и знал, чтобы разобраться в происходящем. Впрочем, в то время и человек поумней и поопытней меня, вероятно, остановился бы в недоумении перед поступками Макаренко.

Раздался голос незаметно подошедшего Антона Семёновича:

— Всё получил?

— Всё, — хмуро отозвался я, — можете проверить.

— То есть как это проверить? — неожиданно резко спросил Макаренко. — Как прикажешь понимать «проверить»? Что проверить? Кого проверять — тебя?

Я не понимал, чем я мог рассердить этого спокойного и вежливого человека. В том мире, в котором я существовал, сказанные мною слова каждому показались бы вполне естественными. Но так или иначе я его рассердил. Это меня испугало. Но Макаренко вдруг улыбнулся.

— Хорошо, — сказал он, — согласен. Я проверю, что на возу, а ты, голуба, мотай по этажам, проверь все сто пятьдесят кабинетов, все ли я их обегал, чего добился, кто принял меня, кто выставил. Иди, иди. Нет, так мы с тобой не по-человечески будем

жить...

— Простите, Антон Семёнович, — буркнул я, — не так... не думал... Минуту мы молчали.

— Вот так-то лучше, — сказал Антон Семёнович. — И ты извини меня, пожалуйста. Трудное это дело, человеческие отношения. Ещё когда в них впутываются буханки хлеба, тюрьма и другая всякая ерунда. Садись, Семён, поехали к чертям с этого двора.

Антон Семёнович легко взобрался на бричку. Я пристроился на облучке.

Пожалуй, первое чувство, которое вызвал во мне своим поведением Антон Семёнович, было удивление. Я бы ничуть не был удивлён, если бы на меня кричали, ругали меня, запугивали, если бы угрожали мне всем, чем угодно, вплоть до расстрела. Я не удивился бы даже, если бы меня стали бить. Всего этого в жизни моей было так много, что хватило бы на долгий век, по глубокую старость. Если Антон Семёнович и не знал подробностей моей коротенькой жизни, то уж в общих-то чертах он мою биографию знал. Знал он и то, или догадывался о том, что поразить, покорить меня могло только спокойное дружелюбие, только подчёркнутая уважительность, только товарищеское отношение старшего к младшему, то есть то, к чему я совсем не привык. Должен сказать, что всё это действительно ошеломило и покорило меня. Странно, кажется, но хотя я и знал Макаренко всего полтора-два часа, но вспоминаю, что уже и тогда я был влюблён в него преданною мужскою любовью младшего к старшему.

Малыш долго раздумывал, надо ли уже двигаться в путь или можно ещё постоять неподвижно. Удивительно это всё-таки была вялая, равнодушная ко всему лошадь.

— Садись, Семён, — сказал Макаренко, — рядом со мною. Теплее будет. А то до самых костей замерзаю. Наши, брат, с тобою шубы одинаково ветром подбиты.

Я слез с облучка, устроился рядом с ним и постарался прижаться потеснее. Малыш внял, наконец, подергиванию вожжей, чмоканию и понуканию, тяжело вздохнул и, примирившись с неизбежностью, начал медленно переступать ногами. Мы молчали. Хоть и холодно было мне, а всё-таки необыкновенно спокойно. Малыш медленно трусил по заснеженной улице, а мне хотелось ещё теснее прижаться к этому человеку, который, как я понимал, не похож на всех виденных мною людей. Метров двести отъехали мы от Губнаробраза, когда Антон Семёнович тронул меня за плечо и тихо, будто по секрету, сказал:

— Остановись, голуба. Видишь ли, на складе случилось недоразумение. Я забежал туда, чтобы узнать, когда следующий раз приезжать за продуктами, и кладовщики сказали, что дали по ошибке хлеба больше на две буханки. Отнеси их, пожалуйста, я тебя тут подожду.

Я растерялся ужасно. Я так покраснел, что мне даже стало жарко. Малыш, почувствовав, что его не понукают, сразу остановился как вкопанный. Я сидел, не глядя на Макаренко, и думал: считает ли он, что я украл эти проклятые буханки, или понимает, что я их прихватил просто для общей пользы.

— Только, пожалуйста, скорее возвращайся, а то один я тут совсем замерзну.

Я не слез, а собственно говоря, сполз с брички, неловкими, не столько от мороза, сколько от растерянности, пальцами я развязал мешок, извлек две проклятые буханки и хмуρο поплёлся обратно.

Неужели он подумал, что я украл хлеб?!

Сам я считал, что операцию с хлебом ни в коем случае нельзя считать воровством и возвращать буханки просто глупо. Ведь он же сам говорил, что его обвешивали и обсчитывали кладовщики. Наверное, уж они на нём больше двух буханок заработали. Вот я эти две буханки и взял в счёт недоданного. Правда, взял при помощи воровской техники. Но ведь не украл же, а взял. Плохо то, что я даже не могу с ним спорить. То ли он из вежливости сказал, будто кладовщики ошиблись, то ли и в самом деле думает, что я тут ни при чём. Удивительно получалось глупо. Я, можно сказать, использовал всё своё богатое воровское умение для того, чтобы помочь этому приятнейшему человеку и теперь этого же приятнейшего человека приходится стыдиться.

В полуподвал я спустился в отвратительном настроении и, бросив буханки на стойку, буркнул, не глядя на кладовщика:

— Возьмите. Да не зевайте. И сами не обкрадывайте.

Вышел я из полуподвала и остановился подумать: идти к нему или не идти? Я отлично помнил, что стоит только перелезть через невысокий забор, и я окажусь в проходном дворе, то есть вырвусь на оперативный простор. «Подамся в Красную Армию», — думал я. Я точно помню, что думал податься в Красную Армию. О Третьей Кобищанской у меня даже и мысли не было. Потом я представил себе, как сидит, съёжившись в бричке, Антон Семёнович и как его со всех сторон продувают холодные декабрьские ветра. Потом я подумал о том, что Макаренко ещё может решить, что я взял две буханки и смылся. Мне стало ясно, что вернуться необходимо.

Медленно шёл я эти двести метров до брички, пожалуй,

медленнее, чем трусил Малыш. «Может, я уже из той колонии уйду», — размышлял я.

Не то чтобы я действительно собирался удирать из колонии. Такой резервный план просто делал моё положение менее безнадежным. Что ж, мол, возвращаюсь, а не понравится — так уйду.

«А если станет корить? — размышлял я, медленно шагая по снегу. — Если скажет: «Я тебя из тюрьмы забрал, я тебе такое богатство доверил — продукты, а ты...»

Ну и пусть ругает, спорил я сам с собой, может, и правильно, что поругает.

Уже совсем стемнело. Завьюжило. По улице забежали дымки срывающегося снега. Бричка проступала сквозь туман. Маленькой и беспомощной показалась мне съёженная фигурка Антона Семёновича. Так мне стало жалко его, что я бегом пустился к бричке.

— Скорей залезай да поехали, — сказал он.

Он, видно, действительно промерз до костей. Я сел рядом и прижался к нему.

... И ПОСЛЕДНЕЕ

Прошло уже месяца три как я попал к Антону Семёновичу Макаренко. Я не буду описывать эти три месяца моей жизни, я не хочу и не могу повторять «Педагогическую поэму». И вот в марте 1921 года в колонию приконвоировали нового колониста. Это был Крамарь, Крамаренко, тот самый, который когда-то втянул меня в шайку и сделал карманным вором. Мы холодно поздоровались. Воспоминания о воровском периоде моей жизни в это время не доставляли мне никакого удовольствия.

— Что тут у вас такое? — спросил Крамаренко. — Командиры какие-то, работать заставляют, давай, может, сообразим что-нибудь вдвоём?

— Нет, — сказал я, — я завязал.

Крамаренко пожал плечами.

— Зря. Ты за бандитизм попал? Ну, бандитам действительно сейчас плохо. А карманникам жить ещё можно. Если работать умеючи, то попадаться не обязательно.

Я промолчал. После этого разговора мы с Крамарем долго не сталкивались. Встречались, конечно, в колонии нельзя было не встречаться, но друг на друга старались даже не смотреть.

Крамарь вёл себя в колонии безобразно. Он отказывался от какой бы то ни было работы. Держал себя барином, которого судьба случайно закинула в холопский мир. Я скоро заметил однако, что он приобрёл немалое влияние среди малышей. Секрет этого влияния разгадать мне было не трудно. Вдали от глаз воспитателей и от моих, конечно, тоже, Крамарь вовлёк малышей в азартную картёжную игру. Денег у малышей не было и играли на продукты. У незащищённых парнишек блестели от голода глаза. Встретив Крамаря, я ему сказал:

«Прекрати картёж!»

— Донеси, — с вызовом сказал Крамарь.

— Донести не донесу, а будет плохо.

Теперь каждый день в столовой я следил за малышами. Я требовал, чтобы всё положенное им они съедали при мне. Малыши съедали. Отдавать Крамарю им стало нечего. Крамарь косился на меня, но столкновения избегал. Только потом я узнал, что картёж тем не менее продолжался. Теперь играли не на продукты. Ставка была другая. Проигравший становился «рабом» того, кто выигрывал. Выигрывал, конечно, Крамарь. Проигрывали, конечно, малыши.

Однажды днём, зайдя по какому-то делу в спальню, я увидел

такую картину: Крамарь, небрежно раскинувшись, лежал на кровати. Босые ноги он просунул сквозь спинку. Пацан десяти или одиннадцати лет почесывал ему пятки. Вид у Крамаря был такой, будто он о несчастном пацане и забыл, а занят какими-то серьёзными размышлениями. У пацана был вид очень испуганный. Кажется, ему хотелось заплакать, но он не знал, как к этому отнесётся «барин». У меня даже в глазах потемнело.

— Уходи, — сказал я пацану.

Вероятно, сказал очень серьёзно, потому что он, не спрашивая у «барина» позволения, испуганно сверкнул глазами и исчез.

Крамарь потерял свой барственный вид и сел, понимая, что разговор предстоит серьёзный.

— И ты тоже уходи, — сказал я Крамарю. — Совсем уходи. Из колонии. Чтобы духу твоего здесь не было!

— Донесёшь? — спросил Крамарь.

— Нет, не донесу. Но жизни тебе не дам. Последний раз советую добром: уходи из колонии.

Кажется, в этот же день, может быть днём позже, Крамарь исчез.

Я рассказываю про мою стычку с Крамарем, потому что, мне кажется, очень важным сказать про огромную силу педагогического воздействия Антона Семёновича. Он начал меня воспитывать с первого слова, сказанного им ещё там, в кабинете начальника тюрьмы. Прошло только три месяца, как я был в колонии, и уже ни на секунду не возникло у меня сомнений, что малышей нужно защищать, что с Крамарем, старым моим товарищем по воровской шайке, нужно бороться.

И всё-таки были случаи, когда даже огромный педагогический талант Макаренко оказывался бессильным.

Мне ещё раз, уже в последний, пришлось встретиться с Крамаренко. Было это в июле того же двадцать первого года в один из жарких солнечных воскресных дней.

Прибежали малыши, те самые, из-за которых в марте столкнулся я с Крамаренко. Глаза у них были расширены от испуга и от сознания важности того, что они имеют сообщить.

— Крамарь появился! Велел сказать, чтоб ты к нему на озеро шёл. Он тебя ждёт.

Я пошёл на озеро.

Крамарь сидел на пеньке, одетый хорошо, несколько даже щеголевато, в целых, до блеска начищенных сапогах. Вид у него был, как всегда, очень заносчивый, несколько даже презрительный. Он, наверное, считал себя оскорблённым. Он, наверное, долго готовился к этой встрече, предвкушал её, и

подготовился так, что, казалось ему, все козыри у него на руках и проигрыша быть не может. Чуть усмехаясь, он смотрел на меня.

— Чего ж не приветствуешь? — спросил он. — Попроси у меня прощения. Поцелуй сапожок! Может, прощу. А не поцелуешь сапожок — не прощу!

Он вытащил из кармана руку. В руке был браунинг. Дуло браунинга смотрело мне прямо в глаза. Не думая ни одной секунды, я сделал самое умное, что можно было сделать: стремительно ударил ногой по вытянутой его руке с револьвером. Удар был сильный. Браунинг упал на траву. Всё происходило так быстро, что я даже не заметил, каким образом в руке у Крамаренко оказался нож.

Он занёс его над моей головой. Думать опять не было времени. Рукой я схватил нож за лезвие и сжал его так крепко, что Крамарь не мог им шевельнуть. Потом я отвёл руку с ножом в сторону и кинулся на Крамаря.

Должен сказать, что избиение было страшное. Помню, что лупил я противника нещадно. Нож лежал где-то в траве, а Крамарь, обалделый, растерявшийся, почти не сопротивлялся. Струйки крови текли у него из носа. Я швырнул его в озеро. У берега было мелко, но он лежал под водой не в силах подняться. Тогда я вытащил его из воды, чтобы он не захлебнулся. Крамарь только всхлипывал и утирал кровь. Как боевая сила, он перестал существовать. Я подобрал браунинг и сунул себе в карман. На мизинце левой руки, которой я схватил нож, было несколько капель крови. Я решил, что это пустяк, на который не стоит обращать внимания. Потом оказалось, что сухожилие повреждено и мизинец у меня остался согнутым по сей день. Не обращая внимания на подвывающего, вытирающего кровь и слезы Крамаря, я пошёл от озера через заросли кустарника.

Теперь только я увидел, что почти за каждым кустом сидели пацаны. Колония знала о драке! Колония следила за ходом драки! Колония готова была прийти на помощь. События развернулись так быстро, что этого не потребовалось, но, честно говоря, мне это всё же было приятно.

Любопытные пацаны видели, как, отстонав, отвытирав кровь и слезы, отвсхлипывавши, поплёлся битый Крамарь из колонии навсегда.

Два или три года спустя ему ночью в Полтавском сквере всадила нож в спину его собственная возлюбленная. Наверное, много он издевался над ней, если довёл женщину до такого.

Сейчас, когда мне шестьдесят пять лет и за плечами у меня сорок пять лет педагогической работы, я знаю, что драться нехорошо, что дракой не решаются споры, и всё-таки я знаю

теперь то, что не знал, а чувствовал тогда, когда дрался с Крамаренко: хоть и редко, но бывают всё-таки справедливые драки.

Если уж Макаренко не мог переделать Крамаря, значит никто его не мог переделать. Гниение зашло слишком глубоко. Но уже тогда у коллектива, который создал Макаренко, хватило сил победить Крамаря и извергнуть.

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ СПУСТЯ

Без малого пятьдесят лет прошло с той поры, как ленивый Малыш неторопливым шагом дошагал, наконец, до колонии и в темноте вспыхнул неяркий огонёк трубки Калины Ивановича.

— А це што за молодой человек? Нового паразита привезли? Извиняюсь, молодой человек, вы, наверное, замёрзли? Идти, пожалуйста, в дортуар, это, значит, в спальню, там уже есть таких же пять паразитов.

Я более или менее точно привожу слова, с которыми обратился ко мне Калина Иванович, но не смогу передать то удивительное добродушие, ту грубоватую ласковость тона, которая превращала эти нелюбезные, казалось бы, слова в дружеское, гостеприимное приветствие.

Так началась моя жизнь в трудовой колонии для малолетних правонарушителей.

Про жизнь нашей колонии рассказал в «Педагогической поэме» сам Макаренко. Лучше его не скажешь, и добавь к тому, что он рассказал, мне нечего. Хочу рассказать только то, что мне стало известным много позже, в тридцатых годах, со слов покойного Антона Семёновича.

Я уже был воспитателем, и наши отношения с Макаренко стали дружескими. Дружба эта ничуть не исключала моего глубочайшего к нему уважения. Думаю, что все воспитанники колонии испытывали к нему те же чувства.

И вот, кажется, в тридцать пятом году вызвал меня Антон Семёнович телеграммой. Речь шла о новом назначении, которое он мне предлагал. Сидели мы у него в гостинице, пили чай, разговаривали, и зашла речь о том, как я попал в колонию. Вот что мне рассказал Макаренко.

Первые пять воспитанников были доставлены в колонию под конвоем. Макаренко уже определил свою задачу: «Нового человека надо по-новому и воспитывать». Загвоздка была в том, как именно по-новому. Искать приходилось на ходу, совмещая поиски с изнурительной повседневной работой, с хозяйственной разрухой, голодом и нищетой. Антон Семёнович почувствовал, что неправильно привозить под конвоем целую группу малолетних правонарушителей. Надо решительно изменить порядок.

И вот за несколько дней до того, как вызвать меня из камеры, зашёл он к начальнику полтавской тюрьмы. Антон Семёнович всё время думал, как, собственно говоря, надо выбирать, как

принимать новых ребят, с чего начинать своё знакомство с ними и их знакомство с колонией. С конвоя? С расписок? С некоторыми? Может быть. Со всеми? Ни в коем случае. А с чего иначе? И с кем как знакомиться?

Он искал и не находил решения.

Поздоровались они с начальником тюрьмы, и начальник спросил, как ведут себя его бывшие заключённые. Антон Семёнович ответил, что отлично, и поинтересовался, есть ли новые кандидаты в колонию.

— Есть, — ответил начальник, — и довольно интересные экземпляры. Хотите посмотреть? Я прикажу их вызвать.

— Нет, нет, — ответил Антон Семёнович, — зачем мне на них смотреть. Они не лошади, я не купец. Покажите мне просто их дела.

На первый случай начальник тюрьмы дал ему десять папок с делами. Антон Семёнович понимал, что привозить в колонию сразу десять новых человек слишком рискованно. Он решил положиться на случай и отобрать из пачки каждое третье дело: раз, два, три — моё, раз, два, три — моё, раз, два, три — моё. Отобранными оказались три дела: Плешова, Колоса и Калабалина.

Плешов (в «Педагогической поэме» - Леший), судя по материалам, был бродяжка, мелкий воришка попрошайка.

Ваня Колос (в «Педагогической поэме» - Голос) - участник банды «Ангела» (был и такой атаман в то время на Украине).

Семён Калабалин (в «Педагогической поэме» - Карабанов) был... впрочем, я достаточно подробно рассказал уже, кем я был.

Просмотрев эти три дела, Антон Семёнович сказал:

— Давайте договоримся, товарищ, что впредь вы не будете без моего согласия направлять в колонию ребят. Я буду к вам заходить и вместе будем решать, кого к нам направить, когда и как. Во всяком случае, отправлять будете по одному. Пачками я принимать не могу. На первый случай я отобрал три дела. Доставлять этих хлопцев надо по-разному. Плешова просто проконвоируете. Для него это неважно. Это его не оскорбит. Чести у него пока нет. Колоса пришлите, пожалуйста, одного без всякого конвоя. Напишите мне какое-нибудь письмо, неважно какое, и поручите ему отнести это письмо ко мне. А за Калабалиным я приеду сам.

— Товарищ Макаренко, — в ужасе сказал начальник тюрьмы, — вы рискуете! Плешова мы доставим вам в целости. Но Колос и к вам не придёт и к нам не вернётся. А кто будет отвечать? Ну, а Калабалин уйдёт от вас без труда. Для него это пустяшное дело. Рискуете, товарищ учитель.

Антон Семёнович рассказывал, что эта фраза «рискуете, товарищ учитель», казалось бы простая, деловая фраза, прозвучала для него откровением. В самом деле, рассуждал он, в любом деле без риска невозможно, как же можно не рисковать в деле воспитания.

Он сказал начальнику, что отвечать за всё будет, естественно, он, и тут же написал расписку «в том, что принял заключённого Колоса и полностью за него отвечает».

Плешов был доставлен в колонию под конвоем. Как ни странно, он почему-то гордился этим. Ему казалось, что конвой придаёт его скромной фигуре некоторую значительность.

Про то, что я вопреки мрачным предсказаниям начальника тюрьмы не убежал, вы уже знаете. С Колосом получилось неожиданно сложно. Он действительно пришёл сам, без всякого конвоя и вручил письмо. Трудности начались дальше. Его надо было оставить в колонии, а он упрямо рвался обратно в тюрьму.

Битый час уговаривал его Антон Семёнович остаться переночевать.

— Нельзя, гражданин заведующий, — упрямо повторял он.

— Какой я тебе гражданин, меня зовут Антон Семёнович, — говорил Макаренко, старясь найти менее официальный тон.

— Ну ладно, гражданин Антон Семёнович, — стоял на своём Колос. — Нельзя мне оставаться. Там ещё подумают, что я воспользовался и убежал. Если мне захочется бежать, так я лучше прямо из тюрьмы убегу. А так нельзя.

— Насилу уговорил, — рассказывал, улыбаясь, Антон Семёнович. — Пришлось дать честное слово, что поеду с ним сам в тюрьму и всё устрою. Скажу, что я виноват. Побоялся, мол, отпустить глядя на ночь. Бандитов тогда по дорогам бродило много.

У Антона Семёновича было счастливое лицо, когда он добавил:

— Угадал в нём честного человека.

Интуиция? А может, новое отношение к человеку — уважение, доверие?

Кажется, в том же разговоре я задал Антону Семёновичу вопрос, который давно меня интересовал, но который я как-то не решался задать.

— А скажите, Антон Семёнович, — сказал я, — когда вы забирали меня из тюрьмы, помните, мы уже вышли за ворота, наверное, целый квартал прошли, а вы вдруг и говорите: «Постой здесь или иди потихоньку, я быстро, башлык забыл». Я вам вслед посмотрел и подумал нехорошо. Наверное, думаю, решил всё-таки конвоира взять. Башлык-то был у вас на плечах.

Антон Семёнович улыбнулся очень смущенно.

— Да, это я маху дал. Так растерялся, что ляпнул про башлык. Тут же спохватился, что он на мне, да уж поздно было. Видишь ли, я решил, что мы с тобой познакомимся, потом ты вернёшься в камеру за вещами, а я пока напишу начальнику тюрьмы расписку и поручительство за тебя. А ты вдруг заявляешь, что никаких вещей у тебя нет и в камеру тебе возвращаться незачем. Не при тебе же было проделывать эту унижительную процедуру. Я боялся, что начальник тюрьмы без расписки не выпустит, но он, молодец, промолчал. Ну, вышли мы на улицу, положение у меня глупейшее, начальника тоже подводить не хочется, документы оформить надо. Ну вот, мне и пришла в голову дурацкая мысль с башлыком.

В заключение хочу сказать, что риск, на который смело шёл Антон Семёнович, оправдывался его удивительной интуицией.

Плешов прожил безупречно честную трудовую жизнь и сейчас почётный гражданин города Полтавы.

Колос — инженер, уважаемый человек в городе Мончегорске.

Что касается меня, то я много лет работаю директором детских домов, и, пожалуй, нет в Советском Союзе ни одной республики, области или края, где бы не было моих бывших воспитанников.

Когда-нибудь я обязательно расскажу о своей педагогической работе, о многих человеческих судьбах, на которые мне, воспитателю, удалось повлиять, о своих педагогических победах и неудачах.

Это долгий рассказ, к которому надо подготовиться, многое вспомнить, многое ещё раз продумать.

Пока на этом я обрываю свои воспоминания.

ОБ АВТОРЕ ЭТОЙ ПОВЕСТИ

Те, кто читал «Педагогическую поэму» А.С. Макаренко, наверное, помнят одного из первых воспитанников Антона Семёновича, который в книге назван Карабановым.

Настоящая фамилия Карабанова — Калабалин.

В этой книге Семён Афанасьевич Калабалин рассказывает о своём детстве и юности. Обстоятельства толкали его на путь преступлений. Неизвестно, как сложилась бы его жизнь, не встретить он в решающую минуту замечательного педагога.

Встречей этой, происшедшей в обстоятельствах не совсем обычных, заканчивает Калабалин свой рассказ...

Антон Семёнович Макаренко и Семён Калабалина связывала глубокая, крепкая дружба.

Семён Афанасьевич много лет работает директором детских домов, разрабатывая и применяя на практике советскую педагогическую науку, основы которой заложил А. С. Макаренко.

У Семёна Афанасьевича сохранилось несколько писем Макаренко к нему. Предлагаем их вашему вниманию.

Письмо без даты.

Дорогой Семён!

С новым годом я тебя поздравил, — получил ли ты мою телеграмму? Я послал телеграмму и Шершневу, но он давно мне не пишет, свинья совершенно исключительная.

Спасибо, что хоть ты меня не забываешь. Очень рад твоим семейным и производственным успехам, это всегда меня наполняет гордостью.

Недавно в Москву приехала экскурсия работников детских домов и колоний Полтавщины. Многие меня помнят по Полтаве. Говорят, что во всех колониях Полтавской области заведена наша система — командиры и даже сводные отряды. Завели они всё это рановато, хорошие вещи у нас принято заводить через пять лет после смерти авторов. Черт с ними, даже для распространения совета командиров я умирать не хочу.

Что это значит: «Меня назначили внешкольным инспектором-консультантом»? Как темно нынче пишут! Значит ли это, что ты ушёл из Соколовки, или не значит? А если не значит, какой из тебя выйдет в чорта инспектор?

Я живу скучно. Писать ничего не хочется, меня всё равно читают только читатели, Зои принципиально не читают и пишут гадости в «Комсомольской Правде». Выползают эти Зои в одиночку, нагадит и пойдёт, а в одиночку мне с ними спорить не хочется.

Писать скоро ничего не буду. Пробавляюсь разными пустячками далеко не первого сорта. Надо накопить достаточно энергии, чтобы взяться за моих врагов по-настоящему, никак не сосредоточусь на хорошей теме.

В марте собираюсь поехать в один дом отдыха, здесь есть под Москвой приличный, а на май закачусь в Ялту и, честное слово, буду лежать на травке и плевать на кипарисы.

Пиши, не забывай. Привет Гале, Антону и всем прочим твоим наследникам.

От Гали привет и поцелуй всем Соколовцам.

Твой А.

Дорогой, милый, родной Семён!

Что мне не повезло, это куда ни шло, но и ты связался с моим невезением, и тебе хлопоты и беспокойство и, может быть, даже разочарование. Я уже собрался на днях выезжать, достал нужное разрешение (довольно длинная штука), случилась большая неприятность: среди бела дня на одной из главных улиц, без всякого предупреждения со стороны судьбы, без всякого предчувствия, — я грохнулся в обморок, — прямо на трамвайной остановке. Кто-то со мной возился, сбежались мильтоны, погрузили меня в машину и привезли домой в состоянии довольно мерзком, мерзком, главным образом, потому, что оно было прежде всего глубоко безразлично: умирать или не умирать — всё равно. Хотелось только одного, чтобы никто не говорил громко. Домашние мои, конечно, всполошились, всполошили Союз, и возле меня завертелось целых четыре врача. Это произошло 10 августа.

Разговоры со мной ведутся... тяжёлые. Запретили писать, читать, играть в шахматы, волноваться. Сейчас пишу тебе украдкой, только потому, что на минутку остался один дома. Я, правда, не лежу, но состояние возмутительное. Через пять дней еду лечиться здесь под Москвой: покой, электричество и вода в разных видах. Признали у меня тяжёлое переутомление мозговых сосудов — всё на нервной почве, хотя, как ты знаешь, я очень редко нервничал. Хуже всего то, что пугают Галю: такие обмороки, говорят, не должны повторяться, — это звучит отвратительно.

Я понимаю, голубок, что тебе неприятно и досадно: приготовился к гостю, а гость какие-то дамские обмороки закатывает. Но что я могу поделать? моё положение ещё неприятнее, я хочу, чтобы ты мне посочувствовал.

Сейчас я утверждаю дома, что после санатория я поеду всё-таки к тебе, но и сам себе не верю, и никто этому не верит. Врачи требуют, чтобы я никуда далеко от врачей-специалистов не удалялся долго. Между прочим, в глаза они утверждают, что ничего особенно опасного нет, что нужно только аккуратно полечиться и ничего не делать, но тут же они и прибавляют слова далеко не утешительные: не забывайте, что Вам уже пятьдесят лет.

Всё-таки меня больше всего беспокоит, что я подвёл тебя и вместе с тобой, наверное, ещё несколько человек. Моральные

твои страдания... что я могу поделать, страдай, по дружбе ты мне это недоразумение простишь, но ведь ты влез в материальные расходы. Если ты хочешь хоть немного меня успокоить и порадовать, сделай дружескую милость: сообщи, сколько ты истратил денег на разные подготовки. Очень тебя прошу об этом.

Осень для меня вообще погибла, на это приходится махнуть рукой. Но весной, я уверен, даже врачи посоветуют мне поехать к тебе, ведь к тому времени все их процедуры должны вернуть мне нормальное состояние. Сейчас, между прочим, я чувствую себя очень неважно: пусто в голове, досадно и как-то неприятно легко возле сердца, и, кроме того, стал злой, страшно со мной разговаривать.

Прости, дорогой, да, собственно говоря, старость штука непростительная. Поцелуй своих и передай горячий привет и извинение. Пиши по московскому адресу, передадут.

Твой А. Макаренко.

Дорогой Семён!

В голову мне не приходило, что ты можешь так волноваться по поводу прошлогодних обстоятельств твоей биографии, я на твоём месте не волновался бы и забыл всё, но совершенно понимаю, что в детском доме тебе скучно и неинтересно.

Поэтому буду всё-таки рад, если из нашей переписки с Яцкевичем что-нибудь выйдет. Сегодня я отправил ему длинное письмо, в котором рассказываю, какой ты педагог. Предупреждаю, что ты человек горячий и лодырей и шкурников не любишь, пишу также и о том, что ты — сторонник моей системы. Приложил, конечно, и твоё письмо, в котором зачеркнул слово «амплуа», поставленное у тебя буквально ни к селу ни к городу.

Вчера я получил орден, поэтому, может быть, особенного страха или отвращения к нашей системе у Яцкевича не обнаружится. Почти уверен, что он что-нибудь сделает. Разговаривать с ним лично, думаю, было бы хуже, я произвожу на некоторых людей отталкивающее впечатление.

Но если даже получится осечка, падать духом не нужно, будем думать что-либо другое. Напрасно ты написал, что согласен работать в любой области, было бы хорошо, если бы ты ближе к Москве и ко мне: иногда и выпили бы чарку.

Спасибо за продолжение проекта провести у тебя лето, но будем надеяться, что это будет не в Виннице, а где-нибудь ближе.

Мы живём в общем по-прежнему, работы много, толку мало. Орден всех взволновал, думаю, что теперь и работать станет легче.

Лёвка заканчивает дипломный проект, и мы все с ним волнуемся.

Галя кланяется тебе и Гале и всей твоей многочисленной фамилии. От меня тоже передай поцелуй и поклон.

Антон похож на меня? По моему глубокому убеждению, это не такое большое счастье, во всяком случае, от души желаю ему быть больше похожим на батька.

Будь здоров и ни при каких обстоятельствах не пищи.

Твой А.

Дорогой мой Семён!

Я в последнее время по обыкновению замотался и долго тебе не отвечал. Спасибо, что не обращаешь внимания на моё свинство и пишешь.

В общем твои дела как будто идут полным ходом. Яцкевич мне не ответил, и это, конечно, — квалифицированное хамство, — ничего не поделаешь, и напоминать ему не хочу, тем более, что по всему видно, мы с тобой ему не ко двору, — у него, вероятно, какие-нибудь другие есть «соображения».

То, что он молчит, между прочим, меня даже утешает. Это значит, что всё равно ты с ним не сработался бы. Стоит ли в таком случае лезть на разные рожны.

Вообще думаю, что тебе не нужно нервничать, по опыту знаю, что лучше бывает там, где трудно, и лучше оканчивается там, где работается.

Было бы очень хорошо, если бы твой сегодняшний опыт как-нибудь записывал. Только не нужно увлекаться живописанием беспорядка в детских домах, это всё хорошо известно и имеет характер классический. А вот записывать твои начинания, изобретения, споры, рабочие физиономии ребят и прочих детей это было бы важно.

Очень рад твоим семейным успехам...

Пиши, Серденько!

Передай привет Гале, Антону Семёновичу и прочим твоим наследникам.

Твой А.